Гюнтер Прин

МОЙ ПУТЬ В СКАПА-ФЛОУ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиографическая книга известного немецкого подводника, написанная в 1940 году, меньше чем за год до своей гибели вместе с экипажем лодки U-47.

- Гюнтер Прин
  - Прыжок
  - Под полными парусами
  - Авария
  - В тревоге надежд и в дыму парохода
  - Перед морским арбитражным судом
  - Безработица
  - В колонне "Хундсгрюн"
  - Старт под водой
  - Первые боевые выстрелы
  - В "мышеловке"
  - Шестьдесят шесть тысяч тонн
  - Скапа-Флоу
  - У фюрера
  - Собственно о книге
  - Послесловие
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32

Гюнтер Прин
МОЙ ПУТЬ В СКАПА-ФЛОУ

Прыжок

Лейпциг. Холодное лето 1923 года.

Инфляция разорила всех. Наши родители обеднели…

Шёл дождь. Улицы выглядели призрачно серыми и грязными.

— Ну, что скажем о нашем решении сегодня? — спросил Хайнц.

Я размышлял о реакции моей матери и медлил с ответом.

— Уверен, что моего старика от такого хватит удар, — Хайнц для убедительности рубанул воздух рукой.

Однако перспектива подвергнуться отцовской порке, похоже, его не останавливала. Он был твёрд в своём решении.

Подойдя к нашей двери, мы распрощались.

Через несколько шагов Хайнц обернулся и крикнул:

— Я скажу своему старику сегодня же, непременно!

И размахивая портфелем, скрылся за углом.

Я поднялся по лестнице. Это была узкая, стёртая ногами деревянная лестница, едва освещённая маленьким оконцем, выходившим во двор.

Дверь открыла мать. Она была в фартуке, запачканном красками.

— Пст! Тихо, Гюнтер, — прошептала она. — Господин Буцелиус ещё спит.

Буцелиус был толстым студентом, который снимал у нас комнату, расположенную сразу справа от входа. Он учился уже в четырнадцатом семестре. До полудня он проводил время в постели. Он говорил, что так ему лучше работается. При этом обычно через дверь доносился его храп.

Я прошёл в нашу комнату. Стол был уже накрыт. За ним в своих высоких детских стульчиках сидели Лизелотта и Ханс-Иоахим с бледными, испитыми личиками. На полке лежали три письма в голубых конвертах: счета!

Подошла мать и принесла еду. Это был перловый суп.

— Много? — спросил я, кивнув головой на голубые конверты.

— Хуже всего с зубным врачом, — вздохнула мать и добавила: — Хотя люди, которым нечего есть, не нуждаются в зубах.

Я взглянул на неё. На её добром лице было выражение горечи и муки. Нет, пожалуй, я не должен ей сообщать о своём решении — по крайней мере, сегодня.

После обеда, в то время как она убирала стол, она сказала:

— Когда выполнишь домашние задания, отнеси-ка кружева к Клеевитцам и Брамфельдам. Снова пришла коробка с ними.

Я кивнул головой. Это было неприятным поручением, однако мы жили этим. Моя тётя закупала кружева в Рудных горах[1], а мать сбывала их в Лейпциге в маленькие магазины и частной клиентуре. Это давало скудный доход, а подчас и его не было.

К вечеру я отправился в путь. Картонная коробка была непомерно велика, и меня мучила мысль о возможной встрече со школьными приятелями.

Магазин находился на новом рынке. Маленький магазин с крохотной витриной, в которой виднелись старомодное бельё, ночные сорочки с ажурной вышивкой, филейные скатерти и коклюшечные кружева. Всё это выглядело как содержимое бельевого шкафа из восьмидесятых годов прошлого века.

В магазине я застал старшую из сестёр Клеевитц, маленькую, сухую женщину с острым носом и чёрными, как у птицы, глазами.

— Добрый вечер, — обратился я к ней и поставил свою коробку на стекло прилавка. — Моя мать прислала вам кружева.

— Мог бы прийти и пораньше! — прошипела она. — Уже темнеет!

Она сняла крышку коробки и начала рыться в кружевах. При этом беспрерывно бормотала себе под нос:

— Конечно, снова неотбелённые… и снова один и тот же узор: «Глаза Бога»… никого сегодня не интересуют «глаза Бога»… я говорила уже об этом в предыдущий раз…

Я молчал.

Звякнул колокольчик на двери магазина, и вошла клиентка.

Фройляйн Клеевитц оставила меня и занялась её обслуживанием. Надо было видеть, как она преобразилась, каким любезным стало выражение лица, как мелодично зазвенел её голос.

Я молча наблюдал за всем этим. Да, вот они какие, эти мелкие душонки: согбенные спины — высшим, пинки — низшим...

Клиентка удалилась с купленными булавками, а фройляйн Клеевитц вновь вернулась к моей коробке. Она рылась там, как курица в земле в поисках червей после дождя, и снова принялась бормотать:

— Образцы были совершенно другие, гораздо красивее… гораздо тщательнее проработанные… охотней всего я вообще бы не взяла эту чепуху…

— Но тогда… — начал я.

Она резко подняла голову и посмотрела на меня. Её глаза превратились в маленькие щёлки, а рот раскрылся от напряжения. Ещё одно моё слово — и она выбросит меня наружу вместе с моими кружевами. Я знал это настолько точно, как будто

бы она уже сказала об этом.

Я вспомнил о своей матери, сестре и брате, и промолчал.

— Ты что-то сказал? — спросила она.

— Нет.

— Ну, то-то же. Я бы тоже не хотела ничего слышать, — заключила она самодовольно.

Затем она подошла к кассе, отсчитала и бросила деньги на стол. Я поблагодарил и ушёл.

Снаружи я сразу закурил, хотя было ещё светло, и кто-либо из преподавателей мог увидеть меня в любое мгновение. Но раздражение было слишком сильным.

Нет, так больше не может продолжаться. Я должен бежать отсюда, если не хочу задохнуться.

Хайнц-то точно сообщит сегодня своему отцу, что мы оба решили уйти в море. Нужно решаться и мне. И, по-видимому, лучше всего поговорить с матерью уже сегодня.

Дома я поспешно проглотил ужин и вошёл в свою комнату. Это была маленькая, узкая комнатка окном во двор. Здесь находились походная кровать, стол, стул, умывальник и книжная полка. Если подойти вплотную к окну, то можно было видеть маленький клочок неба.

Над моей кроватью висела картина с изображением Васко да Гама. Из всех морских героев прошлого я любил его больше всего. Снова и снова перечитывал я историю его жизни. Как он, будучи всего двадцати семи лет от роду, отправился в плавание с тремя кораблями, едва ли большими, чем рыбачьи лодки. Как, испытывая неслыханные лишения, он под парусами обогнул Африку, как завоевал Индию, как вернулся домой, приветствуемый королём и ликующим народом.

Если бы я мог вырваться наружу и вести такую же жизнь!..

Но у моей матери не было никаких денег — и об этом не могло быть и речи. И сам я имел всего девяносто одну шведскую крону, которые заработал обслуживанием иностранцев на ярмарке.

А может быть, этой суммы и достаточно для обучения в морской школе? А если нет, то я готов стать матросом и без школы… с этими мыслями я и заснул.

На следующее утро по дороге в школу за мной зашёл Хайнц Френкель. Он ждал меня внизу, у входа в дом.

— Итак, я поговорил со своим стариком, — сообщил он после того, как мы поздоровались; он был поразительно благоразумен для своего возраста. — Он настаивает только на том, чтобы я сначала сдал экзамен на аттестат зрелости. И тогда он не станет мне препятствовать стать моряком.

— Так-так, — ответил я.

— А ты? — спросил Хайнц. — Что тебе ответила твоя старая дама?

— Ничего… Я ещё не говорил с ней об этом.

Он рассмеялся и похлопал меня по плечу:

— Ну-ну, старый дружище, тогда натирай здесь свои седалищные мозоли и дальше…

Во второй половине того же дня я отправился на биржу труда к консультанту по профессиям. Я хотел разузнать о подготовке и дальнейшей перспективе судовых юнг.

Консультант выглядел далеко не как португальский король. Бледный, с оттенком желтизны, мужчина неодобрительно осмотрел меня через очки с толстыми стёклами и сказал раздражённо:

— И ты хочешь в морской флот? Такой клоп? А что скажут на это твои родители?

— Моя мать согласна, — солгал я.

— Да ну? — произнёс он недоверчиво. — Тогда следующий раз приходи вместе с ней.

И он снова склонился над своими документами, как если бы я для него уже не существовал вовсе.

Я собрался с духом и сказал ему, что сначала хотел бы осведомиться… об обучении… и сколько всё это будет стоить…

Он взглянул на меня неприязненно, взял брошюру с полки позади себя и бросил её передо мной на стол, не удостоив меня больше ни одним словом.

Прихватив брошюру, я поблагодарил его и вышел…

Снаружи я поспешно перелистал всю брошюру. Это был проспект Немецкой морской школы в Финкенвердере. Не останавливаясь на картинках, я пробегал глазами текст, не вчитываясь в содержание, и лишь потом отыскал сведения о том, как долго длится обучение и что оно стоит.

Там стояло: «три месяца учебы». А затем указывалась такая сумма в бумажных марках, которая вызвала у меня головокружение. «Без последующих обязательств» — стояло ниже.

Я вышел из старого серого здания биржи на улицу. В выпуске «Лейпцигских последних известий» нашёл сообщение о курсах валют и начинал рассчитывать.

Похоже, что в пересчёте моих крон в бумажные марки этой суммы должно было хватить…

Решено! И я бегом отправился домой…

Моя мать сидела перед своим мольбертом и делала рисунок для будущей картины. Это был вид леса с несколькими косулями.

В последнее время она часто обращалась к этому сюжету.

— Ты только подумай, — упредила она меня. — Зубной врач согласился в качестве уплаты взять у меня картину. Он находит мои картины превосходными, и, кроме того, он нашёл мне ещё двух новых клиентов. — Ее щеки пылали. — «Я считаю, что каждая картина стоит не менее тридцати золотых марок», — сказал он. При хорошем настрое я могла бы писать по две-три картины в неделю. Это от двухсот сорока до трёхсот марок в месяц... Знаешь что? Похоже, наши мучения с кружевами теперь прекратятся.

Я внимательно посмотрел на неё. Да, она снова была в воздушном шаре своих мечтаний.

Я сделал глубокий вдох.

— Всё это прекрасно, мама. Но не стало бы тебе легче, если бы у нас уменьшилось число голодных ртов?

Она опустила палитру:

— О чём ты говоришь, Гюнтер?

— Я подумал, что и для меня настало время подумать о заработке.

— И что ты намерен делать?

— Я хочу стать моряком.

Она встала.

— Вот посмотри, — сказал я поспешно. — Я достал проспект морской школы в Финкенвердере. Плата за обучение невелика. Я мог бы даже оплатить учёбу только моими шведскими кронами. И, кроме того…

Она прервала меня:

— Тебя в самом деле тянет к морю?

— Да, — ответил я,— на самом деле. Всем сердцем. Ты же знаешь об этом.

Она молча опустила голову… Затем тихим, с дрожью, голосом произнесла:

— Ну, если это на самом деле так, тогда я не могу стоять на твоём пути…

Под полными парусами

Школа моряка в Финкенвердере располагалась в большом доме из красного кирпича на берегу реки. Из окон большого зала днём мы могли видеть проходящие мимо суда, которые направлялись к морю или возвращались обратно, а с наступлением темноты — их огни, скользящие вдоль реки. В спальне, откуда реку не было видно, слышны были гудки пароходов. Всё это будоражило воображение, и мы испытывали страстное желание поскорее вырваться на морской простор…

Мы — это группа из тридцати-сорока юношей, вечно голодных как волки, однако всегда весёлых и полных ожиданий и надежд.

Порядки школы были весьма строгими. Например, тот, кого заставали за курением, должен был съесть свой окурок. Но нас всё это нисколько не смущало. Мы брали от этой жизни всё, что только могли получить, даже если это был обед самого директора.

Секрет уловки, как стянуть обед директора, капитана Олькерса, передавался учениками из поколения в поколение. В момент, когда в подъёмнике поднос с обедом проходил мимо нашей столовой, нужно было молниеносно заменить полные миски на пустую посуду. Тот, кто был неловок, мог оказаться в очень неприятном положении. Но всё повторялось снова и снова, и сострадательные души полагали, что капитан Олькерс потому и остаётся таким маленьким и сухим, что ему так часто в мисках достаётся только воздух…

Парусник «Ольденбург» под полными парусами.

Парусник "Ольденбург" под полными парусами

А между тем мы изучали сплесени и морские узлы, сигнальную книгу и правила мореплавания. Обучение шло быстро, так как подготовка длилась всего три месяца. Поэтому среди моряков наша школа называлась «фабрикой матросов из Финкенвердера».

Но, даже несмотря на короткий срок обучения, мы проявляли нетерпение, и в свободную вторую половину дня только и обсуждали свои дальнейшие шансы. Хороший шанс — это получка матроса на судне в дальнем плавании. И мы расхаживали туда и сюда вразвалочку, с широко расставленными ногами, как бывалые матросы в гавани, и сплёвывали через плечо с пристани в воду, и с волнением ждали дня, когда нас должны были освидетельствовать.

Через три месяца состоялся выпускной экзамен. Его успешно выдержали все; капитан Олькерс каждому пожал руку и пожелал

счастливого плавания.

Вскоре все разъехались, за исключением двоих — Янке и меня. У нас с ним не было денег на поездку домой и, кроме того, мы не хотели упустить свой шанс. Таким образом, мы стали D-учениками. Так называли выпускников, не получивших назначения.

С A-учеников начинались пребывание в Финкенвердере, затем они превращались в B-учеников, и в выпускной месяц — в C-учеников. D-ученики представляли собой «замшелых карпов», которые кормились в школе до тех пор, пока не ловили свой шанс.

Тренировка на бушприте.

Тренировки на бушприте

Дальнейшее пребывание в школе нельзя было назвать хорошим временем. Наши прежде спокойные прогулки по причалам гавани превратились в беготню от судна к судну и поиски работы. Но мы никому не были нужны.

В том числе и в школе. Однажды вечером, когда мы, усталые и разочарованные, возвращались в школу, в большом зале нас остановил боцман Шмидт и сказал:

— Я хочу предупредить вас, ребята, по-хорошему: уже второй день здесь не продохнуть от рыбной вони, которая от вас исходит.

Потом он напялил на голову свою егерку и удалился.

Да, это действительно было далеко не прекрасное время. И

когда однажды нас позвали к капитану Олькерсу, мы очень обрадовались: так или иначе, но, в конце концов, это должно было когда-то закончиться.

Когда мы вошли, он сидел за своим письменным столом. Мы поприветствовали его и замерли перед ним навытяжку.

— Парусник «Гамбург» ищет двух юнг, — сказал он строгим командным голосом. — Это хорошее судно, а его капитан является одним из лучших моряков, которых я знаю. Завтра можете оформляться.

— Есть! — ответил я с благодарностью.

А Янке сухо переспросил:

— А каким будет наше денежное содержание?

Капитан Олькерс поморщил лоб.

— Денежное содержание? — повторил он недоброжелательно. — Какое ещё для вас денежное содержание? Ведь вы только учитесь и для судна пока являетесь лишь балластом. Кроме того, «Гамбург» становится учебным судном. А за обучение судовая компания требует тридцать марок в месяц. И это ещё дёшево, юноши, исключительно дёшево!

Лицо Янке стало красным. Он был сыном крестьянина из Померании, и расчётливость была у него в крови.

— Но тогда мы не сможем прокормиться, господин капитан, — возразил он. — Мой отец не будет это оплачивать.

— Так, — произнёс Олькерс, — а у тебя как с этим, Прин?

— Я думаю, что моя мать тоже не сможет заплатить.

— Та-ак… Ну, ладно, мне придётся ещё раз всё это обдумать.

И немилостивым движением его руки мы были выдворены наружу.

К вечеру капитан вызвал нас снова.

— Итак, — сказал он грубо, — я все устроил. За обучение вы ничего не будете платить.

— А денежное содержание? — вновь спросил Янке.

Олькерс посмотрел на него долгим взглядом. Это было странный взгляд, наполовину озадаченный, наполовину негодующий, однако в нём угадывалось и понимание:

— Твоё денежное содержание будет медленно расти… от нуля марок! — с этими словами он круто развернулся на каблуках и удалился.

На следующее утро мы прибыли на борт «Гамбурга». Было воскресенье, холодный, ясный день. В лучах солнца сверкали снег и льдины, которые Эльба несла вниз по течению.

«Гамбург» был ошвартован у пристани напротив верфи «Блом унд Фосс». Очевидно, проходила погрузка, так как всюду на палубе лежали мешки с зерном и грузовые корзины, а в углу

виднелась куча пустых консервных банок и кухонной золы.

Судно казалось совершенно пустым. Только внизу у входного трапа стояли двое — офицер в синем форменном пальто и рядом с ним огромный детина в гражданском. Он смахивал на усатого краснощёкого моржа. Ворог его рубашки, распираемый могучей красной шеей, несмотря на холод, был распахнут. Синий жилет, как гирлянда, оттягивала толстая золотая цепь карманных часов.

— Вы и есть новые юнги? — спросил нас «морж» глубоким басом, и облако спиртных паров вырвалось из его рта.

— Так точно, господин боцман, мы юнги, — ответил я.

— Так, эти господа из морской школы, — с иронией сообщил он офицеру; затем громко крикнул вглубь корабля: — Штокс!

Через мгновение появился матрос.

— Новые юнги, — сказал ему боцман. — Покажи каждому рундук и койку. Этот (он ткнул пальцем на Янке) пойдёт в носовой кубрик, а малыша проводи в корму, в «синагогу».

Он отвернулся и сплюнул в воду. Штокс послал Янке в носовой кубрик, где обитали ученики и юнги, а меня повёл в корму. По пути я рассмотрел его со стороны.

Это был маленький, худощавый человечек с бледным, угрюмым лицом. Его передние зубы выдавались далеко вперёд, и потому в профиль он напоминал недовольную крысу.

«Синагогой» называли кубрик для матросов в возрасте. Она находилась за грот-мачтой. Это было большое, низкое помещение. Оно создавало впечатление тёмной пещеры, вдоль стен которой справа и слева располагались койки в два яруса, а в середине стоял длинный деревянный стол с двумя скамьями. Солнечный свет, проникающий внутрь через иллюминаторы, отражался от деревянных переборок и светлыми лучами таял в полутьме отдалённой части кубрика. Пахло водорослями, смолой и солёной водой. В полутьме никого не было видно, но при нашем входе на койках кто-то заворочался.

— Вот твоя койка, — указал Штокс в самую глубь пещеры.

Я подошел к койке и бросил на неё свой мешок, а Штокс присел к столу у входа, вытащил газету и стал читать.

— Ты должен ещё показать мне рундук, — сказал я.

Он поднял голову:

— Что ты сказал?

— Я попросил тебя показать мой рундук.

Он встал и направился ко мне. Беззвучно, набычив голову.

— Что-ты-сказал? — повторил он; его слова странно сливались в один непрерывный звук.

— Я попросил тебя…

В следующее мгновение он ударил меня по лицу. Потом

снова и снова. Он бил жёстко, тыльной стороной ладони.

— Я научу тебя уважать матросов, болван! — кричал он при этом.

Я был настолько ошеломлён, что даже не пытался защититься.

Кровь бросилась мне в голову… Пусть он на десять лет старше, пусть он опытнее и сильнее меня, но так избивать себя я не позволю. Я нагнул голову и сжал кулаки.

Тут сзади на моё плечо легла рука и сжала его, как в тисках.

— Спокойно, юнга, спокойно! — прогремел голос сзади; и затем Штоксу: — Проваливай, жаба!

Я обернулся. Это был матрос, свесившийся с верхней койки. В полутьме его не удалось сразу разглядеть, и я ощущал только его руку, которая продолжала сжимать моё плечо: широкая, могучая рука, густо покрытая волосами и оплетённая, как канатами, мощными мышцами.

«С водою, пемзой босиком
Трём мы палубу с песком».

"С водою, пемзой босиком трем мы палубу с песком"

Штокс отпрянул к входу, бормоча что-то себе под нос, но таким образом, что нельзя было различить ни одного слова. Входная дверь за ним с треском захлопнулась.

Мужчина наверху спустил ноги с койки и спрыгнул вниз.

— Ты, видно, юнга-новичок? — спросил он.

— Да.

— И как тебя зовут?

— Гюнтер Прин.

— А меня Мар Виташек, — он протянул мне руку.

Он был, по крайней мере, на две головы выше, и вдвое шире меня, его глаза выцвели от морского ветра и солёной воды.

— Ты не должен мстить ему, — сказал он. — Этот Штокс — подонок. Сам по себе он хил, и потому выбирает ребят помоложе и послабее, и мучает их.

— Я вовсе не слабее, — ответил я. — Просто я не успел дать ему сдачи.

— Ну-ну! — засмеялся он. — Но ты моложе его! И даже если бы ты на самом деле дал сдачи, то мы все стали бы против тебя. Так положено, это дисциплина.

Он медленно опустился на банку и стал набивать трубку.

— Я такое однажды пережил, — продолжал он. — К нам пришёл новый юнга. Он был крепким парнем и здорово побил матроса. Однако после этого и сам пролежал три недели в койке, и должен был поставить новые зубы из алюминия. Теперь он их чистит наждачной бумагой. Жаль, если мне пришлось бы помочь Штоксу именно таким образом, — пробормотал он и зажёг свою трубку.

Пока он сидел за столом и молча курил, я раскладывал свои вещи.

Я ещё не закончил располагаться, как вновь появился Штокс и сказал, что я должен прибыть на корму к боцману.

Боцман жил в отдельной каюте. Когда я вошёл, он лежал на койке, опираясь вытянутыми ногами в сапогах на табуретку.

— Послушай-ка, господин юнга, — сказал он, — как раз тебя-то нам и не хватало. Имеется срочная работа.

Он выкатился из койки и, тяжело ступая, повёл меня на бак к гальюну под палубой.

— Это наш «парламент», — указал он на два унитаза. — Ты не поверишь, но когда-то они были белыми. А теперь за работу! Возьми горячей воды и соли у кока. Когда закончишь, доложишь мне.

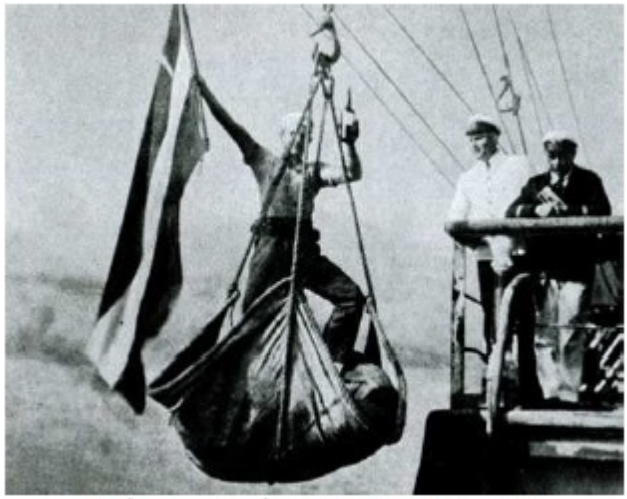
Он ушёл, а я принялся за дело. Через открытую дверь виднелись кусок палубы и грот-мачта, которая стройно поднималась в бледно-голубое февральское небо.

Вот она — жизнь моряка, о которой я мечтал… Будь оно проклято, такое начало!..

Наконец я закончил с работой и доложил боцману. Он молча прошёл вперёд. Тщательно осмотрел оба унитаза. Затем повернулся ко мне:

— Ну что ж! Хорошая работа, юнга, — его тон стал доброжелательнее, без издёвки. — Если ты и дальше будешь содержать их в таком виде, найдёшь себе в Гарри Стёвере друга.

Он похлопал меня по спине и ушёл.



Подъём последней корзины с зерном.

Подъем последней корзины с зерном

Он выкатился из койки и, тяжело ступая, повёл меня на бак к гальюну под палубой.

В обед мы с таким же юнгой, как и я, должны были «бачковать». Второй юнга — маленький, проворный парень с головой, покрытой щёткой белокурых волос, и весёлыми синими глазами.

Мы получаем на камбузе и приносим в кубрик жестяные бачки с пищей, а после обеда моем их. Мы обедаем вместе с матросами, сидя за столом плотно, локоть о локоть. Поскольку сегодня воскресенье, на обед — жаркое из свинины с краснокочанной капустой.

— Тебя зовут Гюнтер Прин? — обратился ко мне мой напарник-юнга, когда мы с ним сели за стол. — А меня — Ханс Циппель. Хотя я здесь уже четырнадцать дней, можешь

обращаться ко мне на «ты».

Матросы смеются, и только Штокс делает недовольную гримасу.

Во второй половине воскресенья мы были свободны. Работа началась на следующий день.

Сначала мы грузили продовольствие, и я должен был поднимать на борт мешки с зерном с помощью ручной лебёдки. Затем предстояла подвязка парусов. Поднявшись на реи, мы натягивали на них холстины парусов и прочно привязывали их гитовыми[2]. Пальцы ломило от ледяного ветра, стальные реи были ужасно холодными. Грот-мачта поднималась над палубой на высоту пятьдесят пять метров, и белая палуба отсюда, с высоты колокольни, казалась крохотной.

Нужно было закрепить двадцать восемь парусов, и нам понадобилось на это два дня.

На четвёртый день мы были готовы к плаванию. Рано утром буксир вытащил нас на середину реки и затем повёл вниз по течению. Было ещё темно, вода чернела своей глубиной, и только льдины с хрустом крошились форштевнем и проплывали в темноте светлыми пятнами.

Мы следовали к выходу в море, и команда, построенная на правом борту, пристально смотрела на берег, который смутно проглядывался сквозь темноту.

Внезапно раздался чей-то хриплый голос:

— Будем верны Санта-Паули[3]!..

…и в ответ из всех глоток разом вырвалось:

— Ура!.. Ура!.. Ура!

Со стороны берега слабым эхом донеслись голоса. Нельзя было различить, о чём они вещали. Матрос, который стоял рядом со мной, сказал:

— Это проститутки…

Когда рассвело, я увидел на шканцах человека в белой вязаной шапочке.

— Это «Старик»[4], Шлангенгрипер, — прошептал мне Циппель.

Человек покрутил головой в разные стороны, как петух, собравшийся прокукарекать, а затем исчез в штурманской рубке.

— Он поймал ветер и теперь прокладывает курс, — пояснил Циппель. — Это один из тех, кто чует погоду на три дня вперёд.

Я оценивающе посмотрел на Циппеля, однако его лицо оставалось непроницаемым.

Мы спустились по Эльбе вниз по течению и во второй половине дня достигли открытого моря. Дул лёгкий северо-восточный ветер, и море выглядело серо-зелёным и очень

холодным. К вечеру, незадолго до захода солнца, буксир освободил нас и, дымя, отправился назад.

Раздалась команда:

— Паруса ставить!

Мы ринулись по мачтам наверх к реям. Полотнища парусов одно за другим опадали и вздувались на ветру. На западе солнце опускалось за облако на горизонте, а на востоке медленно поднималась полная луна, отражаясь в море сверкающей дорожкой.

Мы работаем так, что, несмотря на холод, рубашки липнут к телу. Однако иногда я всё же осматриваюсь и наблюдаю, как лунный свет играет на белых парусах.

Но самое прекрасное зрелище меня ожидает внизу, когда я снова спускаюсь на палубу. Передо мной возвышаются, исчезая вершинами в ночном небе, три серебряных парусных башни. В них поёт ветер, а внизу под форштевнем ровно шумит носовая волна. Мы идём под полными парусами…

Кажется, что словно невидимая сила влечёт корабль за собой, мягко, но неудержимо. Никакого шума машин — только постоянно этот глубокий, равномерный шорох волн.

В дрейфе под нижним марселем. Снимок сделан после шторма.

В дрейфе под нижним марселем

Мы совершили переход до Бискайского залива. Там ветер круто изменил направление, и мы должны были долго лавировать. Мы рассчитывали возместить потерянное время за Азорскими островами, как только войдём в район пассатов.

Однако когда мы подошли к Азорским островам, то вместо пассатов застаём там только слабый ветер, своими редкими порывами напоминающий старческое покашливание.

Шлангенгрипер ловит каждый порыв ветра, но мы всё равно проходим за день не более десяти миль. Порой кажется, что море налилось свинцом. Дни сонливые и жаркие, а ночи ещё хуже. Мы не выдерживаем их в кубрике и в свободное от вахты время лежим на крышках люков, ловя прохладу ночного ветра.

Капитана мы видим только изредка. Обычно он располагается полулёжа на своем палубном топчане позади вёсельного ящика. Только иногда в полдень, в самый разгар жары,

он появляется на шканцах в шёлковой красной рубашке, длинный и сухой, как полуденное привидение. Окинув озабоченным взглядом обвисшие паруса и покачав головой, он вновь исчезает за вёсельным ящиком.

На борту «Гамбурга» в воскресное утро.

На борту "Гамбурга" в воскресное утро

Да, мы видим его очень редко. Но то, что он, находясь как бы за сценой, удерживает все нити в своих руках, мы поняли очень скоро…

Однажды в полдень Кремер, старший бачка, послал Циппеля на камбуз за сгущённым молоком. Он хотел подсластить свою лапшу. Но Циппель вернулся без молока.

— Как это понимать?! — накинулся Кремер.

Он был медленным на подъём восточным пруссаком, который только изредка открывал свой рот. Однако теперь он был взбешён.

— Что, этот Смутье не хочет раскошелиться?

— Нет, — ответил Циппель, и дрожь в голосе выдавала его страх. — Он хочет. Но он говорит, что капитан запретил. Нужно экономить.

Кремер не ответил, но взглянул так, что замолчали все сидящие за столом. Нависла тишина. И в этой тишине вдруг раздался голос Штокса:

— Зато завтра будет нечто особенное, солонина с сушёной картошкой.

Это была пища, которую мы получали вот уже три недели почти ежедневно, и потому слова Штокса звучали как издёвка.

Эта сцена не имела далее никаких последствий, только с этого момента молоко не выдавалось больше ни утром, ни днём, ни вечером.

Три дня спустя — как раз была моя очередь бачковать — я пришёл на камбуз, чтобы получить «напиток вахтенных». Это был кофе, который выдавался для вахтенных в четыре часа утра. Чёрный и горячий, сильно отдающий цикорием и лишь отдалённо напоминающий кофе, он популярен у всех путешественников, будь то в высоких широтах Антарктики, или в тропиках.

— «Напитка вахтенных» больше не будет, — сказал мне кок Смутье, и мне показалось, что он коварно ухмыляется.

— И что я должен сказать им?

Он равнодушно пожал плечами.

— Можешь сказать, как есть. Шлангенгрипер запретил.

Матросы поняли меня не сразу. Когда я с пустым, дребезжащим котелком появился в «синагоге» и сообщил им о причине отказа, над столом нависла тишина, точно как в прошлый раз. Все сидели либо в сетчатых майках, либо с голым торсом, и перед каждым лежал ломоть сухаря, который они приготовили к этому кофе.

Не знаю, кто начал. По-моему, это был Мюллер. Он схватил свой сухарь и начал барабанить им по крышке стола, выкрикивая при этом:

— Подъём! Подъём! Подъём!..

Это было старой шуткой. Команда побудки, которой по утрам поднимались из коек свободные от вахты, предназначалась для червей в сухарях. При стуке сухаря по крышке стола они сыпались из своих нор и расползались в разные стороны. Тут их сметали в кучу и растаптывали.

Но на этот раз «шутка» означала нечто иное. Внезапно все схватили свои сухари и стали тоже барабанить ими по столу. Это напоминало дробь барабана. И вступил хор хриплых голосов:

— Подъём! Подъём! Подъём!..

Вдруг сквозь шум в кубрике послышался голос капитана. По-видимому, он спустился со шканцев и теперь стоял прямо у входа в «синагогу».

— Боцман, — сказал он, — я полагаю, мы должны успокоить этот кубрик!

И тотчас прогремел грозный голос боцмана:

— Чёрт побери! Тихо вы там, в «синагоге»!

— Все они такие правильные, — послышался чей-то приглушённый голос, — для нашего брата они не только кофе

пожалеют, а палец о палец не ударят.

— Да уж, а вид такой благочестивый, — добавил Штокс, — как будто он компаньон самого господа Бога. Видели бы вы его во время последнего плавания в Фёрт-оф-Форте…

Окинув взглядом своих слушателей, он продолжал:

— Нам нужно было пройти под мостом. С лоцманом. «С вашими мачтами вы не пройдёте в прилив под мостом», — сказал лоцман. «Пройдём, — возразил Шлангенгрипер, — я рассчитал это». Дело в том, что ожидание следующего отлива стоило два фунта дополнительной платы лоцману, и эти два фунта лежали камнем на душе. «Хорошо, кэптен, — ответил лоцман, — но на вашу ответственность». Шлангенгрипер молча ушёл в штурманскую рубку… А позже, когда я счищал ржавчину с фок-мачты, ко мне подошёл Иверсен, второй рулевой, и сказал: «Штокс, загляни-ка с кормы в штурманскую рубку! Это надо видеть!» Я пошёл и заглянул туда снаружи в иллюминатор. Там, стоя ничком на коленях и обхватив руками голову, молился Шлангенгрипер. Он просил «дорогого Господа Бога» о том, чтобы Он не наказал его за скупость, и чтобы концы мачт остались целыми. Он лежал так до тех пор, пока мы не прошли под мостом. Полкоманды успело на него посмотреть… Правда, нам и на самом деле удалось проскочить с невредимыми мачтами. Но в последующие дни, проходя мимо Шлангенгрипера, мы хлопали себя по коленям.

Раздался смех.

— Надеюсь, он не молится о том, чтобы лишить нас ещё и солонины в мисках, — сказал Шлегельсбергер.

Мы увидели, как наискосок через палубу к «синагоге» бежит Йессен. Задыхаясь, он возмущённо затараторил:

— Дети мои, я с камбуза! Там Балкенхоль — и пьёт молоко! Я сам видел! У пасти большая банка сгущённого молока и слышно только: «клук-клук-клук»!

Это возымело такое действие, как будто у всех разом открылся выход накопленной ярости. В «синагоге» — крик и ругань: «Эта коварная свинья… этот жид… ну, держись, собака, мы засунем тебе это…»

И затем Виташек сказал веско и важно, как председатель суда присяжных:

— Сегодня ночью мы этому коку устроим…

Наступившая ночь была тёмной, свет звёзд заслоняло знойное марево, только тонкий золотой серп луны пробивался между облаками.

До полуночи мы были свободны от вахты. В десять часов мы украдкой, в чулках, пробрались на бак. Дверь на камбуз была

открыта. На камбузе сидел кок Балкенхоль и писал. На его лысом темени отражался свет керосиновых ламп. Мы столпились в тени у входа, и Циппель жалобным голосом выкрикнул:

— Балкенхоль!

Кок поднял голову. Его выпученные тёмные глаза с любопытством и недоверием вглядывались в темноту.

— Балкенхоль! — повторил Циппель вкрадчивым, умоляющим тоном.

Балкенхоль откашлялся.

— Кто здесь? — спросил он настороженно.

— Дай мне, пожалуйста, кружку кипятка, — промямлил Циппель.

— Нет! — наотрез отказал Балкенхоль — как всегда, когда мы его о чём-нибудь просили.

Некоторое время было тихо. Мы думали уже, что Балкенхоль заметил нас, настолько пристально смотрел он в темноту, где мы стояли. Но он только сказал:

— А вообще, если тебе чего-то от меня нужно, зайди.

— Не могу, — ответил Циппель.

И жалобно добавил:

— Моя нога, ох, моя нога…

У Балкенхоля проснулось любопытство. Он встал и, переваливаясь с ноги на ногу, осторожно и недоверчиво вышел на палубу.

В следующее мгновение из темноты за дверью вынырнули две тени, набросились на него и с быстротой призраков утащили на ростры в тёмный проём за спасательными шлюпками. Оттуда послышались дробные удары, подобно тем, что раздавались по воскресеньям, когда Балкенхоль делал отбивные котлеты. И в промежутке между ними — его приглушённый жалобный голос:

— За что? Что вам от меня нужно? Я ничего вам не сделал!

— Как — ничего не сделал?! — ответил злобный голос. — А кто всё время варил нам отвратительную баланду?!

Тут вступил второй голос:

— А наше молоко кто выпил, потная свинья?!

— Я… выпил молоко?.. Никогда в жизни!..

— Не лги! Йессен видел!

Голос Балкенхоля перешёл на визг:

— Это подлая собачья ложь… я только вылизал пустую банку, которая осталась от «Старика»… Там не было и трёх капель!.. Так вот вы какие! Когда Шлангенгрипер разрешает давать вам молоко, то я здесь не при чём, и вы молчите! И вы гнёте спину перед ним: «Так точно, господин капитан… Спасибо, прекрасно, господин капитан!» И подставляете ему задницу… А когда он

запретил выдавать «напиток вахтенных», то получается, что это я у вас его отнял? За что вы меня-то лупите? Шли бы вы на шканцы и сказали всё прямо в лицо «Старику», если вы настоящие парни!..

Со стороны бизань-мачты донёсся кашель. Это подавал сигнал опасности Шёнборн, которого мы поставили там для охраны. Сразу после этого послышались шаги, и из темноты появился Рудлофф, третий помощник.

— Ну и ну, — удивился он, увидев нас. — Свободные от вахты — и не в койках?

— Ах, господин Рудлофф, — ответил лицемерно Кремер, — ночь так хороша!

— Да, она действительно прекрасна, — сказал Рудлофф и отправился дальше.

Он был лиричен по природе, и мы подозревали даже, что он пишет стихи. Однако мы уже вдоволь насытились прелестью этой ночи и потому тут же расползлись по своим койкам.

Во время следующей утренней вахты проводились работы по ремонту такелажа. Стоя на перте[5] нижнего рея, я работал с грот-брамселем[6], а выше меня, сидя верхом на рее, — Циппель. Мы были одни. Глубоко под нами виднелась палуба.

Внезапно Циппель склонился ко мне сверху и сказал:

— Пойдёшь с нами? Мы решили бежать в Пенсаколе.

Я испугался:

— Как, ты не один?

Он кивнул и засмеялся.

— Конечно, не один. Почти все. Вся «синагога». И носовой кубрик тоже. Пусть «Старик» один выколачивает червей из своих сухарей!..

Раздался свисток второго помощника, и мы начали спускаться на палубу к брасам[7]. По пути я размышлял о том, что мне сказал Циппель.

Итак, они решили бежать. В Пенсаколе. Я хорошо понимал их и, честно говоря, мне тоже хотелось бы бежать с судна, и чем скорее, тем лучше. Я посмотрел на свои руки, которые покраснели и растрескались от солёной воды, и почувствовал шишковатость в затылке, которая возникала обычно от скудной пищи с солониной, без следа зелени.

Бежать? Отлично. Но куда? Что делать одному в чужой стране? Без документов, без денег...

После смены с вахты, когда мы обедали в кубрике, я надеялся, что кто-нибудь начнёт разговор об этом. Но все либо молчали, либо говорили о посторонних вещах.

После обеда я был свободен от вахты. Я прошёл в нос судна и

улёгся на люке тросовой выгородки. В синеве неба сияло солнце. Паруса обвисли и лишь иногда слабо колыхались от порывов ветра. Со стороны форштевня время от времени слышался шум волны, как при накате на мол. Его монотонность клонила ко сну.

Через некоторое время подошёл Циппель и уселся рядом со мной.

— Ну, что? Ты обдумал? Будешь с нами?

— А что вы будете делать на берегу? — задал я встречный вопрос.

— Увидишь, — сказал он значительно.

— То есть ты не знаешь? — начал раздражаться я.

Он глубоко затянулся из своей трубки и недоверчиво осмотрелся по сторонам. Затем склонился ко мне и зашептал:

— Послушай, это верное дело! Штокс знаком с несколькими фермерами оттуда. Они нуждаются в белых надсмотрщиках, как в хлебе насущном. Это настоящая жизнь! Они ездят верхом по полям, под началом — пятьдесят негров… сто негров, которые потеют и работают… А ты восседаешь на лошади и говоришь только: «Старайтесь, дети мои, старайтесь!» В обед индюшатина и ананасы, каждое утро какао, и всё для тебя готовят негры. И спишь в шёлковой кровати с балдахином, и охраняют твой сон тоже негры…

Его свистящий шёпот от восторга перешёл на хрип. Я не прерывал его. Картина, которую он изобразил, напоминала плакат с солнечного юга, который всегда вывешивают на вокзалах. Всё бы хорошо, только Штокс был для меня неприятным исключением.

— А кто ещё участвует, кроме тебя и Штокса? — спросил я.

Он перечислил всех: пять человек, в их числе кок и Янке — юнга, с которым мы вместе пришли на судно. Да, это были далеко не лучшие люди.

— Больше никто? — спросил я.

Циппель разозлился.

— Пока да, но, наверно, к нам присоединится и ещё кое-кто.

— Хм…

— Ну, а как ты? — спросил он напоследок и повернулся уходить.

Я не мог решиться:

— Хочу обдумать всё ещё раз, — сказал я.

Тогда он пожал плечами и неторопливо удалился. По его спине я видел, что он взбешён.

А я продолжал лежать и смотрел, как паруса колышутся на ветру, совершенно белые на фоне тёмно-синего неба…

Мои мысли раздваивались. С одной стороны, часто

приходилось слышать о людях, которые находили счастье на том берегу. Не обязательно сразу становиться миллионером. Но в течение нескольких лет можно сделать какое-то состояние, и это довольно обычное дело. Если же я останусь на судне, то меня на всю жизнь ждёт участь голодной собаки.

Я поднялся и пошёл назад, в кубрик. «Синагога» была пуста, дверь открыта настежь. Только Крамер лежал в койке и храпел.

Я взял из рундука свою писчую бумагу и сел к столу. Через открытую дверь над леерами виднелся горизонт, где небо и вода расплывались в серебряной дымке.

Я писал матери: «Дорогая мама, скоро мы будем в Америке. Плавание было долгим. К сожалению, я представлял себе жизнь моряка совершенно иначе. У нас это называется «много работы и мало хлеба…»

На бумагу упала чья-то тень. В дверном проёме появился Виташек. Я

не слышал его приближения, потому что он был в лёгких сандалиях.

— Ты что тут делаешь? — спросил он.

Я прикрыл письмо рукой. Он подошёл к столу и взял письмо. Взял совершенно спокойно и уверенно, как будто так и должно быть. Затем он опустился на скамью и стал читать.

— Так, — сказал он, окончив чтение, — так-так. Вот ты какой. Значит, с ними заодно. Не ожидал от тебя, Принхен, не ожидал.

Он пристально посмотрел на меня своими водянистыми глазами.

Взгляд сквозил неприязнью.

— Отчего же? — заикаясь, ответил я.

— Не увёртывайся, юнга. Ты знаешь точно так же, как и я, что здесь происходит. Но я хотел бы тебе вот что сказать: в такой игре честный моряк не должен участвовать! Да, конечно, всё плавание мы не получаем ничего, кроме жратвы для свиней! Да, конечно, «Старик» на этот раз скуп до бесстыдства. Но только поэтому всё бросить… всё плавание… и вообще всё это?!

Он сделал широкое движение рукой в сторону моря, которое блестело в полуденном свете.

На паруснике «Гамбург» при свежем бризе.

На паруснике "Гамбург" при свежем бризе

— Разве ты не чувствуешь, как прекрасно это всё? Вспомни, как в шторм наш старый «Гамбург» перекатывается через волны! Видел бы ты в шторм нашего «Старика», дружок! Там, на шканцах, стоит уже не какой-то жалкий скряга! Нет, там стоит Моряк! Да! Мужчина, который борется со стихией! Но такие людишки, как Штокс, не могут этого понять. И Балкенхоль в своём мерзком камбузе тоже. Они не видят ничего дальше своего собственного носа… И ещё я хотел бы сказать тебе вот что…

Наклонившись ко мне и чеканя слова, как будто забивая гвозди в крышку стола, он сказал:

— Надеюсь, что ты не свяжешься с этими молодцами.

Потом он встал рывком, так, что скамья под ним грохнулась о переборку, и, тяжело ступая, вышел наружу. Я проводил его благодарным взглядом. И к письму матери больше не возвращался…

Ночью ветер повернул к зюйд-весту, и утром мы почуяли запах берега. Это был незнакомый, крепкий запах. Он напоминал аромат леса, нагретого солнцем. Время от времени мимо проплывали громадные круглые медузы. Они выставляли над водой тонкие плёночные плавники, которые, как паруса, увлекали их ветром.

В пять часов поутру впередсмотрящий доложил о том, что видит берег. Часом позже мы все увидели его: плоское, белесое побережье в лучах солнца. Пока мы, галсируя против ветра, вошли в залив и встали на якорь на рейде Пенсаколы, наступил вечер.

После нашего разговора у люка тросовой выгородки Циппель больше ко мне не подходил. Только на следующее утро после прибытия в Пенсаколу он снова обратился ко мне. Мы стояли перед каютой второго помощника, чтобы получить задаток перед увольнением на берег.

— Ну, что, уходишь с нами? — спросил он вполголоса.

Я отрицательно покачал головой. Затем мы стали смотреть на берег в разные стороны. Мне было тягостно, так как я, несмотря ни на что, сдружился с Циппелем. И даже сейчас, когда он косился на меня, он оставался хорошим приятелем.

В каюте второго помощника нас ждало разочарование: матросы получили по три доллара, ученики — по два, а юнги вообще ничего.

— Воспитательная мера господина капитана, — сказал второй помощник, ухмыляясь.

После обеда всех увольняющихся перевезли на берег на моторном баркасе.

Город спал в ярком полуденном солнце. Это был удивительный город. Роскошные торговые дома соседствовали с глиняными лачугами и клетушками из гофрированной жести. Их разделяли незастроенные участки, заваленные мусором. Хилые пальмы, припудренные пылью, как и всё остальное, тянулись рядами по обеим сторонам улиц.

Я неторопливо прогуливался по улицам, рассматривая витрины магазинов и останавливаясь у кафе, в которых бронзовые от загара люди потели под палящими лучами солнца. Но я никуда не мог зайти. У меня не было ни гроша.

Медленно пошёл я к гавани. По длинной, прямой улице, которая упиралась прямо в море, навстречу мне ехала повозка. Это была маленькая одноосная тележка, запряжённая мулом и битком забитая людьми. Я услышал их голоса уже издалека. Это был Штокс со своей компанией. На козлах сидел желтокожий метис с жёсткой щёткой чёрных усов и безучастно смотрел прямо.

Проезжая мимо, они повернулись ко мне и кричали наперебой, размахивая бутылками с «Лунным светом»[8]. Но не остановились.

Повозка была слишком мала, чтобы вместить всех. Как рой вьющихся пчёл, свисали они с неё. Я провожал их взглядом, пока они не исчезли в клубах белой пыли…

В гавани мне пришлось долго ждать оказии к «Гамбургу». Наконец прибыл наш боцман и забрал меня с собой.

— Ну, Принтье, — доброжелательно обратился он ко мне, — испытал счастье? Дамы, небось, требовали гарантий жениться?

И он раскатисто рассмеялся, обнажив изъеденные чёрные остатки зубов.

На борту я сразу отправился в кубрик. «Синагога» была пуста. И всё судно затихло, как если бы оно спало. Был слышен только слабый плеск воды у якорной цепи. Я заполз в свою койку и вскоре заснул…

Подвесные койки в кубрике.

Подвесные койки в кубрике

Посреди ночи я проснулся, почувствовав на своём лице влажное и жаркое дыхание. Чей-то хриплый голос шептал:

— Проснись, Принтье, просыпайся же!

Это был Циппель. От него несло спиртным, и его лицо было красным и радостным, как детский воздушный шар. Это легко было разглядеть даже при слабом свете маленькой керосиновой лампы, качавшейся у подволока.

— Принтье, сейчас мы сбегаем, — зашептал он, увидев, что я проснулся. — Я хотел только сказать тебе «чюс» и затем…

Он наклонился, поднял обитый железом рундук со своими пожитками и с размаху брякнул его прямо на мои ноги.

— Эти вещи я не могу уложить в вещевой мешок. Принеси-ка их мне завтра во второй половине дня в кафе «Чикута», слышишь?

— Но…

Однако он не захотел меня дальше слушать.

— Чюс, малыш… Прин, — лепетал он, — ты дерьмовый пёс в моих глазах, потому что ты отказался идти вместе… Но ты мой друг, Прин, ты мой дружище!

— Тихо! — раздался сверху злой голос Виташека.

Ещё мгновение Циппель тупо таращился на меня, тряся головой, как телёнок, которого живодёр оглушил деревянным молотом. Затем он повернулся и, шатаясь, перешагнул через комингс. Дверь за ним осталась открытой.

Я выпрыгнул из своей койки и ринулся за ним. Но его уже поглотила темнота. В слабом свете звёзд я увидел несколько неясных фигур, сновавших туда и сюда, а на талях — плотно набитые, как огромные сливы, вещевые мешки. Это было имущество беглецов.

Крадучись, я вернулся в свою койку, но ещё долго не мог заснуть…

Следующим утром на построении отсутствовали девять человек: Штокс, пять учеников и двое юнг. Кроме того, кок Балкенхоль.

Боцман, который должен был назначать нас на работу, страшно разозлился. Рыча, он обежал кубрики, осмотрел койки и рундуки. Но и койки, и рундуки оказались пустыми.

Затем нас распределили по работам. Восемнадцать человек вместо двадцати семи. Работа была тяжёлой: выгружать балласт.

За время плавания он слежался в трюме, как камень. Мы разбивали его мотыгами и затем в больших железных ящиках поднимали на палубу.

Во время работы пришёл боцман.

— Прин, к капитану! — сказал он торжественно-скорбным голосом, как пастор при погребении.

Меня вызывали к капитану впервые, и мои ноги стали как ватные. Перед дверью я перевёл дух и постучал.

Шлангенгрипер сидел за письменным столом и писал. Когда я вошёл, он даже не повернулся.

Я осмотрелся. Каюта была небольшой, но уютной. Здесь стояли скамьи, обитые кожей, а стены были красного дерева и блестели, как ирландские каштаны.

Наконец он отложил ручку и повернулся ко мне.

— Присаживайся, мой мальчик, — сказал он дружелюбно.

Я сел на краешек кожаного дивана.

Сверху на него падал сноп света из иллюминатора, и я впервые мог рассмотреть его вблизи: лицо было продолговатым и красным, а синие глаза смотрели из глубины тёмных глазниц.

— Скажи-ка, Прин, — начал он разговор, — ты дружишь с Отто Циппелем?

Он сделал паузу и пристально посмотрел на меня. Я кивнул, ничего не ответив и чувствуя, как в моих висках пульсирует кровь.

— А тебе известно, — продолжал он как бы безразличным голосом, — что Циппель с несколькими дружками сегодня ночью сбежал с борта?

— Так точно, господин капитан, — сказал я тихо.

Он вскочил на ноги. Как башня, он навис надо мной и, тыча мне в грудь указательным пальцем, выкрикнул:

— И где же они?

Я вздрогнул и должен был сглотнуть, прежде чем сумел тихо пролепетать:

— Не знаю, господин капитан.

Он медленно опустился в свое кресло.

— О, Прин, Прин… — он снова говорил тем же тоном, что и вначале, — ты встал на неправильный путь. Ты лжёшь, а я жду от тебя правды, сын мой!

Я молчал.

— Ты, верно, думаешь своей глупой головой, — он постучал костяшками пальцев мне по лбу, — что, скрывая правду, ты делаешь добро своим непутёвым друзьям. Тогда послушай, что их ждёт на берегу. Они будут отчислены, а в их судовые книжки впишут «Дезертировал». И потом они будут нищенствовать, они не могут не стать нищими, Прин! А потом их закуют в кандалы и отправят подметать улицы… Мы должны подумать об этом, Прин!

Я и сам размышлял именно об этом и представил себе Циппеля, исхудавшего, как скелет, в железных оковах подметающего улицы. Но я продолжал молчать.

Капитан говорил со мной ещё битый час. Когда я вышел из его каюты, на мне не было сухой нитки, однако о своей встрече в «Чикуте» я ему так и не рассказал…

В обед мы довольствовались холодным пайком, потому что кока теперь не было. Сразу после обеда я пошёл к боцману и попросил увольнения на берег.

— Ты, наверно, не в своем уме, — сказал он мне, и на этом разговор был окончен.

Я снова отправился вниз, в грузовой трюм выгружать балласт.

Вскоре появился капитан и в сопровождении первого помощника подошёл к трапу. В шёлковом костюме и белом тропическом шлеме Шлангенгрипер выглядел строго и торжественно.

— Едет сообщить портовой полиции, — сказал Кремер.

Мы стояли у лееров и наблюдали, как он спускался в баркас…

К четырём часам я начал волноваться. У меня не выходило из головы, что Циппель ждёт меня в кафе «Чикута». И каждый раз, когда мы поднимались на палубу с очередным ящиком, я осматривал гавань, надеясь увидеть его где-нибудь на набережной.

В шесть часов с окончанием работ наступило время, которое мы называли «Daddeldu»[9]. Мы столпились у трапа.

— Глянь-ка туда, — сказал Кремер и показал на лодку, которая отошла от причала напротив и направлялась к нам. У руля стоял цветной, а рядом на гребной скамье сидел Циппель в белом, со скрещёнными на груди руками, и наблюдал за работой темнокожего. Похоже, он уже далеко пошёл.

Вдруг мы увидели вторую лодку, вышедшую из гавани в нашем направлении. Это был моторный баркас. Он сразу набрал полный ход. От форштевня слева и справа тянулись пенистые усы. На корме баркаса стоял, выпрямившись, Шлангенгрипер.

Расстояние между лодками сокращалось с каждой секундой. Однако Циппель ничего не замечал.

Между тем у трапа «Гамбурга» наблюдать за этой гонкой собралась почти вся команда. Мы застыли как зачарованные. Только Виташек набрался мужества и помахал рукой, показывая Циппелю назад.

Но Циппель от спеси как будто ослеп. Он ничего не замечал вокруг. А затем, когда его лодка приблизилась, он сложил, как рупор, ладони у рта, и прокричал:

— Я теперь свободный гражданин Соединённых Штатов!

К этому моменту баркас Шлангенгрипера приблизился к его лодке сзади почти вплотную. Привлечённый шумом мотора, Циппель оглянулся. В следующее мгновение он затрепетал, как белый кролик в руках охотника…

И вот барказ подошёл к трапу. Шлангенгрипер, держа

Циппеля за локти, поднялся с ним на борт, и оба скрылись в капитанской каюте на шканцах.

Свидание на шканцах длилось долго… Циппелю все хотели воздать должное: и первый помощник, и второй, и третий, и, наконец, самым щедрым образом, боцман. В этот вечер я Циппеля больше не видел. Он появился в кубрике, когда я уже засыпал…

Следующим днём было воскресенье, и в десять утра началась молитва. Она обязательно проводилась при стоянке у берега, а если позволяла погода, то и в море. Обычно в ней хотели участвовать все, в том числе и неверующие. Капитан препятствовал этому, чем вызывал всеобщее неудовольствие.

— Он же из Фрисландии, — сказал Кремер презрительно. — С тех пор, как они слопали Бонифация, у них святость в брюхе.

Молитва начиналась с песнопения. Шлангенгрипер вынимал из футляра скрипку, сдувал с неё пыль, натирал смычок канифолью и произносил медленно и торжественно:

— Споёмте песнь номер шестьдесят семь!

Потом он упирал скрипку в подбородок и начинал играть, подпевая себе высоким дребезжащим голосом: «Мы живём, ведомые Богом, благодаря Его великодушию…».

Циппель стоял и пел рядом со мной. Он восхвалял Бога с перекошенным ртом, распухшим после свидания с боцманом…

Авария

Третьего сентября мы покинули Пенсаколу. На борту было двадцать человек, не считая занятых на вахте. Кроме Циппеля, никто из тех, кто совершил побег, на судно не вернулся.

Было раннее утро. Солнце ещё не взошло. Мы поднимали якорь, выбирая якорь-цепь шпилем. Баковая команда, налегая на вымбовки[10], запела одну из шанти[11], о благополучном возвращении домой. Она — лучшая из всех, которые я знаю. В каждом плавании она поётся только один раз: когда судно поднимает якорь для возвращения в родную гавань.

Сначала запел боцман, а вслед за ним, в ритме шагов вокруг шпиля, вступил и общий хор:

Идём домой, идём домой,
Идём домой мы через море,
Увидим старый Гамбург вскоре,
В родимый край идём, домой…[12]

Потом мы подставили паруса, и спустя несколько часов Пенсакола осталась позади. Бледная и почти нереальная, как будто мы никогда и не ступали на её пыльные улицы. Мы снова в море…

Однажды утром на палубе раздались два удара в судовой колокол. Потом ещё и ещё раз… всё громче и всё быстрей, пока отдельные удары не слились в непрерывную дробь.

Мы находились высоко на реях, стоя в пертах, и убирали верхний марсель. Рядом со мной был Люрманн.

— Пожар на судне! — крикнул он, ухватился за ванты и в мгновенье ока соскользнул вниз.

Пытаясь понять, где возник пожар, я поспешно спустился вслед за ним. За белыми парусами, полощущимися на ветру, ничего не было видно. Только в носу чёрный дым рваными клубами окутывал такелаж фок-мачты.

Палуба опустела. Все, кто был наверху, собрались на баке — Шлангенгрипер, первый помощник и все свободные от вахты.

— Чёрт возьми, горит тросовая выгородка! — тихо сказал мне Люрманн.

Бегом мы бросились туда. Люк тросовой выгородки был открыт, и из его тёмной глубины поднимался тяжёлый, ядовитый дым, который перехватывал дыхание. Все смотрели молча. Боцман с двумя матросами внатяг держали канат, который тянулся из зияющего тёмного проёма.

Потом оттуда, снизу, раздался приглушённый голос:

«Поднимай!»

Стёвер и двое матросов начали медленно и равномерно выбирать трос. И так же медленно из проёма люка появилась голова, затем грудь и, наконец, всё тело матроса. Он рухнул на палубу. Это был Виташек.

Его подняли и перенесли на наветренный борт. Сразу вслед за ним из люка выполз Тайсон, чёрный от дыма, со слезящимися глазами, сотрясаемый приступами кашля.

Я подошёл к Виташеку. Он неподвижно, как мертвец, лежал на спине с закрытыми глазами.

Шлангенгрипер обратился к Тайсону:

— Что внизу? Очаг огня большой?

— Мне кажется, господин капитан, что пожар начался от мешков с зерном.

Капитан повернулся к первому помощнику:

— Господин Шаде, осмотрите грузовое отделение. Я думаю, из отсека, смежного с тросовой выгородкой, мешки следует выгрузить.

Он говорил так же флегматично, как и обычно, только его обычное «эс» вместо «з» слышалось заметней, чем всегда.

В этот момент Виташек, голову которого обливали холодной водой, пришёл в себя. Он растерянно посмотрел вокруг и тихо произнёс:

— Баки с горючим!

Затем ещё раз, уже громче:

— Баки с горючим!

Мы похолодели от ужаса: в тросовой выгородке внизу стояли шесть больших баков с горючим. Если огонь перекинется на них, то пожар не остановить…

— Дайте мне бросательный, я достану баки, — сказал Тайсон.

Сухой и жилистый, он выражал собой саму решимость. Раньше я как-то не замечал его. После побега Балкенхольса он взял на себя обязанности кока, потому что никто больше не мог и не хотел выполнять их.

— Я достану баки, — повторил он, обвязываясь бросательным концом вокруг пояса.

Закрыв рот и нос мокрым полотенцем для защиты от дыма и держа под мышкой огнетушитель, он исчез в тёмном проёме тросовой выгородки.

Вскоре в проёме люка появился первый бак, затем второй, третий… Боцман с матросами, склонившись над люком, доставали их и относили в сторону.

Нас послали к помпе, но она вышла из строя. Парусный мастер поспешно шил мешки из парусины, чтобы в них носить

воду.

Когда мы с мешками вернулись к тросовой выгородке, из люка поднимали Тайсона. Он стонал, лицо его было покрыто чёрным налётом, одежда опалена, и от неё шёл дым. Его пытались расспросить, как внизу, но он только отмахнулся и, шатаясь, подошёл к леерам. Перегнувшись, он повис на них и опустился на колени. Его рвало.

Второй помощник потряс его за плечи:

— Ну как, Тайсон?

Но Тайсон, как рыба, выброшенная на берег, лишь молча хватал воздух широко открытым ртом. Потом он показал на свою ногу…

Второй достал свой нож и быстрым движением разрезал брючину Тайсона. Кожа на ноге приобрела тёмно-красный цвет и пузырилась, а ниже колена лопнула и покрылась коркой струпьев.

— Третья степень, — тихо сказал второй помощник; потом повернулся к нам и крикнул: — Ну-ка, быстрей перенесите его на корму!

Подошёл Шлангенгрипер:

— Удалось погасить огнетушителем?

Тайсон отрицательно покачал головой:

— Горит чересчур сильно.

— Всем на тушение пожара! — разнеслась по палубе команда Шлангенгрипера.

И работа закипела… Теперь уже не было «свободных от вахты». На верхней палубе работала вся команда.

Это была ужасная работа! Тридцать шесть часов мы непрерывно таскали воду в парусиновых мешках и выливали её в парусиновую воронку над люком тросовой выгородки, которую соорудил парусный мастер. Затем возвращались к трапу, наполняли мешки и снова доставляли их к воронке…

Когда усилился ветер, мы полезли по вантам на мачты — крепить паруса.

Поднялась высокая волна, и время от времени бурун захлёстывал палубу и окатывал нас с головы до ног. Одежда прилипла к телу, но времени на отдых или переодевание не было.

Мы заполнили водой сначала тросовую выгородку, а потом провизионку, потому что огонь уже сожрал переборку между ними.

Наконец, поздно ночью вторых суток, пожар был потушен.

От усталости мы попадали и заснули тут же на палубе, не спускаясь в кубрики. Спала вся команда. Лишь двое бодрствовали: впередсмотрящий и рулевой…

Я проснулся от толчка сапогом в бок. Надо мной стоял

боцман.

— Малыш, — сказал он, — проснись! Ишь, стервец, спит как сурок!

Со сна я вытаращил на него глаза.

— Иди на корму к первому, Принтье, — сказал он настойчиво.

Пошатываясь, как пьяный, я поднялся и побрёл на корму.

Первый помощник сидел в своей каюте и читал при свете керосиновой лампы.

— Можешь готовить пищу, Прин? — спросил он.

Я тотчас же понял, куда он клонит.

— Только немного, — ответил я, — совсем чуть-чуть.

— Ну, для камбуза и этого достаточно. Пойдёшь туда. Пока Тайсон не придёт в себя, — добавил он.

У меня вытянулось лицо. Для того, кто хочет стать моряком, играть роль кока совсем не пристало...

— Зато будешь получать жалование матроса второго класса, — заманивал меня первый. — И, кроме того, Циппель будет помогать тебе как кухонный рабочий.

Так и получилось, что мы вместе с Циппелем попали на камбуз «Гамбурга». Я выполнял работу со смешанными чувствами. Однако Циппель был просто счастлив.

— Дружище, теперь мы можем отъедаться, пока не треснет пасть, — сказал он.

И мы действительно отъедались. Однако при этом мы не забывали и об остальных. Из честолюбия мы стремились готовить пищу лучше, чем это когда-либо делалось на «Гамбурге».

Начали мы в пятницу. На парусном флоте пятница — день солонины. Балкенхоль и Тайсон просто бросали куски солонины в котёл и отваривали их. А потом мы сами были свидетелями того, как это варево действовало на наши зубы и желудки.

Мы поступили иначе: провернули мясо вместе со старым хлебом через мясорубку и из фарша налепили биточков…

После обеда мы прошли через носовой кубрик и «синагогу» и собрали самые лестные отзывы: «С момента моего последнего миссионерского костреца я не ел ничего столь вкусного», — сказал Кремер, похлопывая себя по животу…

Суббота на парусном флоте была рыбным днём… Когда мы выставили на баке фрикадельки из трески, наша популярность стала угрожающей.

В воскресенье мы намеревались приготовить консервы с краснокочанной капустой и пудинг «Гроссер Ханс»[13]. Мясные консервы и остатки хлеба для пудинга имелись. Но мы не смогли найти краснокочанную капусту. Я послал Циппеля на корму в

лазарет, чтобы спросить у Тайсона, где она находится. Циппель вернулся и сообщил, что краснокочанной капусты больше нет, осталась только белокочанная.

Я в раздумье пожевал мундштук трубки. Это было бы нашей неудачей, так как белокочанная капуста по традиции не соответствовала воскресенью.

— Разрази меня гром, — сказал Циппель озабоченно, — они придут и поколотят нас. — Он не строил себе никаких иллюзий по поводу людской благодарности. — Может, подкрасим капусту малиновым соком? — предложил он.

Я отрицательно покачал головой:

— Его не хватит. Подожди-ка, подожди… Так, я нашёл! Иди-ка к боцману и попроси сурик. А если спросит, зачем, то скажи, что мы хотим покрасить камбуз.

Циппель понимающе подмигнул и, свистя сквозь зубы, исчез.

Когда он вернулся, мы сначала попробовали с суриком на вареве в одной консервной банке. Белокочанная капуста покраснела так, как будто она никогда и не была белой…

В обед за добавкой трижды прибегали бачковые — так понравилась всем «краснокочанная капуста». Сами мы к ней не прикасались, жадно поглощая припасы, которые пробуждали аппетит — спаржу, какао и «Гроссер Ганс»…

Был прекрасный, ясный день, штиль и никакого повода для морской болезни. Однако спустя четыре часа после обеда матрос Шлегельбергер вышел на верхнюю палубу, перегнулся через леера, и из него весь обед вышел такой струёй, какая характерна для «сухопутных крыс» во время шестибалльного шторма.

Спустя полчаса оба толчка в гальюне были заняты, а рядом стояла очередь с расстёгнутыми поясами и торопила сидящих, от нетерпения стуча кулаками по переборке.

На шканцах на прямых ногах, как на ходулях, из угла в угол напряжённо вышагивал Шлангенгрипер с бледно-зелёным лицом. Время от времени он исчезал в проёме капитанской будки, где был оборудован его индивидуальный гальюн.

Ещё полчаса спустя в большой сетке под бушпритом плотно, бок о бок, сидела вся команда и унавоживала поверхность моря.

— С голыми задами над голым морем, — ухмыльнулся Циппель.

Но смех тут же застрял в его горле. Дверь распахнулась, и перед нами возник Шлангенгрипер.

— А… вы тут, оказывается, совершенно здоровые, на вашем камбузе… — обвёл он камбуз колючим взглядом.

Я подумал уже, что он обнаружит бачок с какао и миску со спаржей на столе. Но нет! Он подошёл к плите, наклонился к

бачкам и обнюхал их.

Потом он ткнул указательным пальцем в бачок с «краснокочанной капустой», повернулся и сунул палец нам под нос: палец был красным.

— Эт-то что? — прошипел он.

— Сурик, — ответил Циппель. Он произнёс это таким невинным тоном, будто сурик в бачке с капустой — обычное дело.

Шлангенгрипер в ответ не смог произнести ни слова. Его трясло, как паровой котёл под давлением. Я уверен, что его первым желанием было нас отдубасить. И мне кажется также, что от побоев нас спасла только Божья заповедь о любви к ближнему.

— Вон отсюда! — прошипел он. — Возвращайтесь в кубрик и продолжайте свою службу! Завтра в четыре утра на вахту!

Это была «собачья вахта», или просто «собака», самая трудная из вахт.

Мы направились к выходу. На пороге он снова окликнул нас:

— Вы должны молчать о вашей глупой выходке. Никому ни слова, понятно?!

И он удалился в направлении кормы.

Шлангенгрипер был умным человеком. С помощью опия, касторки и молчания он устранил последствия нашей выходки в три дня.

Девятнадцатого октября мы достигли Фалмута. Это был прозрачный, солнечный и ветреный осенний день. Мы прибыли утром и стали на якорь в отдалении на внешнем рейде, потому что стоянка на внутреннем рейде стоила очень дорого.

Шлангенгрипер ушёл на берег на катере. Когда он вечером вернулся, мы узнали, что мы должны встать под погрузку в Корке в Ирландии. Сниматься с якоря предстояло на следующее утро.

Настроение в команде было скверным. Мы уже несколько недель были в пути, а теперь уже целый день — на якоре в видимости берега. И что же? Никому не суждено сойти на берег?!

Ночью реи скрипели на ветру, а утром старый парусный мастер с каплей на носу рассказывал всем, кто его мог слышать: «Домовой проклял эту ночь. Он разозлился на скрягу Шлангенгрипера, и мы ещё увидим, что будет».

До среды мы совершили удачный переход. Ветер дул с кормы, и мы делали хороший десяток узлов. Затем ветер медленно зашёл на зюйд-вест, и с юга поднялась высокая, густая стена облаков. Солнце поблекло, стена быстро росла, выкрашивая всё в серый цвет.

Ветер повернул на зюйд. Перед собой он гнал мёртвую зыбь и волну с пенистым гребнем, дрожащую от сдерживаемой мощи.

В четыре часа я сменился с вахты. Новая вахта заступила в

штормовках и морских сапогах.

Мы спустились в кубрик и улеглись в койки, сырые от пропитавшей всё влаги. Но сон не шёл. Судно скрипело и дрожало, паруса трещали, шумело море, завывал ветер.

Тут мы услышали резкий свисток третьего помощника и вслед за ним хриплый крик Стёвера:

— Приготовится на бом-брамселе! Четыре долой!

Топот ног по палубе. Скрип тросовых блоков, звон цепей.

Парусный мастер сидел у нас в кубрике.

— Это на него похоже, — сказал он скорбно, — капитан Хильгендорф так не поступил бы. Видели бы вы, молодые люди, как мы пробивались через шторм у мыса Горн! Не потеряв ни одного паруса!

Никто не ответил. Мы лежали в койках и ждали, когда раздастся команда: «Свободной смене — на верхнюю палубу!».

Она не могла не поступить. И мы со смутной неистовостью ждали её всё это время.

— Недотёпы! — проворчал парусный мастер и вышел; порыв ветра с треском захлопнул за ним дверь.

И снова пронзительный свисток: «Приготовиться убирать бом-брамсель!»

Снова звон цепей, скрип блоков, хлопанье на ветру спускаемых парусов.

И вдруг звук удара, похожий на пушечный выстрел, а вслед за ним — резкий, пронзительный треск.

Я высунулся в иллюминатор. Небо было свинцово-серым. Палуба покрыта пеной перекатывающихся волн, и высоко над нами на ветру, как крылья громадной птицы, трепетали клочки разорванного бом-брамселя.

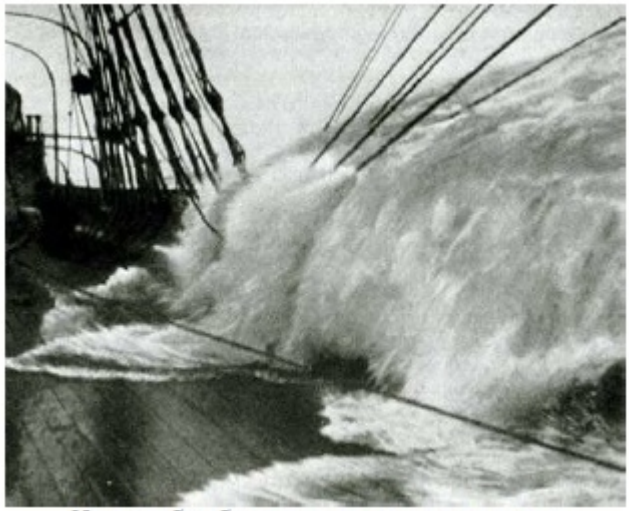
Теперь убирался крюйс-брамсель.

— Приготовься, на грот вызовут и нас, — сказал Кремер.

И в следующее мгновенье над нашими головами послышались знакомые шаги «Старика»:

— Я полагаю, следует объявить аврал, господин Рудлофф, — донёсся его голос сквозь шум ветра.

Мы повыскакивали из своих коек, не дожидаясь команды Стёвера «Всем наверх!»



На палубу обрушивается крутая волна.

На палубу обрушивается крутая волна

Нас поставили на обтяжку тросов и крепление шлюпок. Тонкий силуэт Шлангенгрипера в его мохнатой белой шапке маячил наверху на шканцах.

— Кажется, сейчас станет совсем туго, — услышал я Кремера, — сам пророк спустился из преисподней.

— Свободной вахте, приготовиться на гитовых и горденях[14]!

Мы бросились по местам, вахта правого борта — на правый, вахта левого борта — на левый борт.

«И-и-и, раз!.. И-и-и, раз!.. И-и-и, ещё раз!» — напевно командовал ведущий. И, подчиняясь единому ритму, мы со всей силой налегали на трос, так, что наши ладони горели, а спины взмокли от пота. Грот бился на ветру, как заарканенный зверь. Пока мы его не усмирили, он трещал и хлопал ещё битых полчаса.

Боцман натужно прокричал Виташеку:

— Послушай, Мар, бом-брамсель нужно снова закрепить! Возьми-ка с собой двоих юнг!

Виташек кивнул:

— Прин и Штабс, за мной! — и вмиг очутился на вантах.

Мы полезли вслед за ним. Наверху ветер был ещё крепче. Под его напором гудели мачты, со свистом раскачивались ванты, полоскались и хлопали по телу наши штормовки.

Мы поднялись, каждый на свой рей. Став ногами на перт, медленно перемещались вдоль рея. Судно сильно кренилось на

правый борт. Мы висели прямо над водой, на высоте около тридцати метров. На фоне тёмной воды ярко светилась белая пена волн.

Парус едва удавалось усмирить. Порывы ветра следовали один за другим, расправляли его складки, и по нам хлестала мокрая парусина, стремясь сбросить с пертов. Это походило на то, как бьётся, хлопая крыльями, гусь, схваченный за шею.

Я слышу крик Штабса. Ударом паруса его всё же сбросило с перта, и он повис на рее, беспомощно болтая ногами в воздухе.

В два броска Виташек оказался рядом с ним, ухватил за ворот и снова поставил на перт. Затем он отправил Штабса назад, на салинг[15], а парус закрепили мы уже вдвоём.

В семь часов стемнело. Казалось, шторм только и ждал наступления ночи. Тяжёлые волны, одна за другой, захлёстывали палубу, разбивались на ней и мощными потоками воды скатывались назад, срывая на своём пути всё, что даже было намертво закреплено. Все вахтенные поднялись на шканцы, потому что на верхней палубе удержаться было невозможно.

Об отдыхе не приходилось и мечтать. Капитан раз за разом заставлял нас подниматься по вантам. При каждой смене галса нужно было убирать одни паруса и ставить другие. Однако утром мы оказались от Корка на восемь миль дальше, чем были накануне вечером. Вины Шлангенгрипера в этом не было. Он делал всё необходимое, что в его положении должен делать капитан. Штормовая погода оказалась сильнее…

Весь следующий день мы галсировали между мысами Хук-Пойнт и Ипел-Хэд. Штормовой ветер с зюйда не прекращался. Мы вымокли с ног до головы и, измождённые, передвигались по реям медленно, как осенние мухи.

В десять часов вечера Шлангенгрипер созвал помощников на совещание. Было принято решение следовать в Дублин — порт-убежище.

Мы подняли кливер и шли всю ночь, наутро подойдя к Дублину. Здесь была такая же погода. Низкие облака несли с собой дождевой шлейф, всё терялось во влажном мареве, а шторм не слабел. В одиннадцать утра мы увидели длинный ряд вех, которые ограждали вход в гавань. Они выглядели как тополиная аллея в туманное утро.

На брасах в свежую погоду.

На брасах в свежую погоду

Мы искали силуэт плавмаяка. Но не было видно ни его, ни буёв.

И всё же наступил момент, когда впередсмотрящий крикнул:

— Справа по борту силуэт буя!

Со шканцев тут же раздалась громкая команда вахтенного помощника.

— Совсем рядом с бортом!

Шлангенгрипер с криком «Отдать якорь! Мель!» в два прыжка оказался на палубе рядом с «синагогой».

В следующий миг раздался глухой удар… Судно задрожало всем корпусом. «Старик» прорычал в дверь кубрика:

— Всем на корму! Надеть спасательные жилеты!

Снова глухой удар… Мы остановились, и судно, раскачиваясь на волне, стало биться днищем о грунт. Через борт перекатывались волны, паруса хлопали один о другой, и фок-

мачта качалась, готовая рухнуть под очередным порывом ветра.

— Фока-брасы рубить! — ревел «Старик».

Мы посмотрели на фок-мачту. Подниматься на неё — это было бы похоже на то, как лезть на дерево, которое валят лесорубы.

— Кажется, рухнет, — сказал Кремер и полез по вантам наверх.

Мы наблюдали, как он поднялся на марса-салинг и, крепко обхватив его ногами, достал топор. И тут фок-мачта над ним надломилась и рухнула на палубу…

Снова удар снизу… ещё один… глухой рокот… И судно освободилось!

Его подхватило ветром и понесло на берег.

Хриплый крик сверху:

— Судно снова управляется!

— На фор-брасах! Приготовиться к постановке на якорь! — ревел «Старик».

«Гамбург» развернулся и прекратил дрейф. Судно было спасено.

«Старик», тяжело дыша, продолжал держать включенный мегафон у рта, и свист его прерывистого дыхания разносился вокруг.

К нему поднялся Циммерманн:

— Вода в помещениях: в носу три фута, в миделе три с половиной, в корме три с половиной фута, — доложил он. — Пока не прибывает.

— Повторять замеры каждые десять минут!

Мы медленно приближались к берегу, который надвигался на нас тёмной полосой в серой пелене дождя.

— Готов якорь? — крикнул «Старик» первому помощнику.

Тот, стоя у форштевня, ответил:

— Готов якорь к отдаче!

Судно медленно поворачивалось по ветру.

— Приготовиться на марселе! Отдать якорь! — командовал «Старик» с мостика.

Громко хлопая, паруса полоскались на ветру, якорная цепь с грохотом скользила в воду.

Здесь с бака доносится крик:

— Обрыв якорь-цепи левого борта!

— Отдать якорь правого борта!

Грохот и звон внезапно прекратились. И в наступившей тишине послышались три коротких металлических удара, как будто бы кто-то железным молотом ударял по металлическому корпусу судна. Мы все оцепенели. Только парусный мастер

продолжал брюзжать:

— Это домовой стучится!

В это время впереди треснула переборка и вслед за этим хлопнула откинутая крышка люка. Шатаясь, наверх выскочил Циммерманн, сделал несколько заплетающихся шагов и рухнул, как подкошенный. За ним спешил Франц Бёлер.

— Лопнула цепь правого борта, — кричал он.

Мы столпились вокруг Циммерманна. Он стоял на коленях, подняв лицо вверх. Я вытер его лоб мокрой тряпкой. И тут мне бросилось в глаза, что волосы на голове Циммермана начали седеть… прямо на глазах…

— Якорь-цепь порвалась, — переводя дух, повторил Бёлер, — а звенья пробили борт… три звена, одно за другим… совсем рядом с головой Циммермана… Ещё немного, и вдова получила бы его голову…

— Приготовить ракеты! — скомандовал «Старик» с кормы.

Нас пронизала страшная догадка: ракеты… сигнал бедствия… это был конец!

«Гамбург» снова развернуло наискосок к ветру и в бешеной пляске волн понесло на берег. Никакой надежды восстановить управляемость! Беспомощного, как бревно, несло его под ударами волн и шквальными порывами ветра.

Толчок… удар, потрясший корпус судна, и снова, и снова толчки… Нас выбросило на банку во второй раз!

Подали сигнал бедствия. Ракеты поднялись высоко над реями с разорванными в клочья парусами.

— Приготовить шлюпки! Всем захватить документы! — приказал «Старик».

Мы помчались в свой кубрик. На бегу я наткнулся на Йонаса, который обхватил меня рукой и показал на отверстие в переборке:

— Крысы!

Они выскакивали одна за другой, громадные, упитанные от пшеницы нашего груза, с острыми мордами и длинными хвостами. Настоящие исчадия ада!

— Крысы! — громко закричал Йонас.

Это послужило сигналом. Бёлер, Йонас и Фляйдерер с криками ярости набросились на крыс, и началась настоящая охота. Они топтали их высокими сапогами, они бросали в них корабельные гвозди, они размахивали и били по палубе и переборкам вымбовками от шпиля. Казалось, что в охоте на крыс нашла выход вся ярость, порождённая нашим отчаянным положением и лишениями последних дней и ночей. Как помешанные, преследовали мы крыс в бешеной гонке.

Фляйдерер сбил одну из крыс вымбовкой. Он схватил её за хвост и поднял над собой в вытянутой руке. Крыса была ещё жива и отчаянно визжала, почти как человек. Она бешено извивалась, пытаясь укусить Фляйдерера и вырваться. Он с размаху размозжил её о переборку…

Было около пяти часов пополудни. Наступило время прилива. Снова усилился шторм, и постепенно сгущалась темень.

— Сколько воды в трюме? — крикнул «Старик» Циммерманну.

Вскоре после пяти часов со стороны Кингстона подошёл спасательный катер и взял команду на борт.

«Старик» стоял у форштевня, и я сумел рассмотреть его лицо. Оно было бледно-восковым. Он стиснул губы и неподвижным взглядом смотрел на полуразрушенный остов «Гамбурга».

В Дублин нас доставили глубокой ночью. Провезли тёмными улицами незнакомого города и разместили в приюте Армии спасения. Там не было ни капли спиртного, только чай и сэндвичи.

Солдаты Армии спасения начали петь набожную песню, и мы должны были им подпевать. Слов мы не знали, но мелодия была из тех, что входила в круг наших корабельных песен при авральных работах. Так и пели мы со скрещёнными на груди руками:

Северный парусник, видел его ты?
Йо-хо-хо, йо-хо-хо!
Мачты кривы, как у шхипера ноги!
Йо-хо-хо, йо-хо-хо!

На следующий день шторм улёгся, и мы отправились обратно на «Гамбург». Судно было в плачевном состоянии: надстройки разбиты волнами, помещения наполовину затоплены.

С помощью ручных насосов мы начали откачивать воду. Работали день и ночь. Когда осушили грузовой трюм, стали таскать к борту мешки с разбухшей пшеницей и, вскрывая мешки, высыпать зерно в море…

Почти тридцать четыре тысячи мешков! Вполне достаточно, чтобы накормить армию голодающих.

Вот так мы и провели у Дублина целых шесть недель. Периодически нас свозили на берег, где мы стали очень почитаемыми. Из-за нашего «благочестия». Благодаря воинам Армии спасения, которые повсюду расхваливали наше «божественное песнопение».

А кроме того, мы были немцами и потому, как извечные

враги Англии, друзьями ирландцев. В маленьких кинотеатрах они аплодировали всякий раз, когда на экране видели германскую армию, и в то же время освистывали английские «медвежьи шапки». Уже тогда, в тысяча девятьсот двадцать пятом!

Спустя шесть недель участь «Гамбурга» была решена: «На слом, восстановлению не подлежит».

Шлангенгрипер улетел в Гамбург, чтобы доложить пароходству. А нас спустя восемь дней забрал «Лютцов» и доставил в Бремерхафен. На нём мы, матросы без судна, были пассажирами третьего класса.

В Бремерхафене все мы расстались…

Гарри Стёвер, Виташек и я остались вместе. Мы договорились для оформления своего увольнения совместно обратиться в Гамбургскую контору по найму матросов.

Мы прибыли туда в середине следующего дня. Это был мрачный декабрьский день накануне рождественского сочельника. До конторы, которая располагалась на улице Адмиралтейства, мы добрались пешком.

В конторе уже горел свет. За барьером сидел маленький лысый мужчина. Когда мы вошли, он на секунду поднял и затем снова опустил голову, продолжая писать. Со скамьи в глубине конторы поднялся господин в чёрном и направился к нам. Это был Шлангенгрипер!

— Пожмём ещё раз на прощанье руки, — он по очереди протянул каждому из нас сухощавую ладонь правой руки.

Затем мы оформили свои бумаги.

Когда мы вышли, Виташек обратился к нам с неотразимым предложением:

— Случай сделал нас дешёвыми безработными. По такому случаю не грех бы и принять по грогу!

Мы направились наверх к пароходству, где получили расчёт. После Стёвера и Виташека наступила моя очередь.

— Вы должны нам ещё пять марок семьдесят пфеннигов, — сказал мне служащий.

— Что?..

— Я сказал, что вы являетесь нашим должником на пять марок семьдесят пфеннигов, — громко повторила эта конторская крыса.

Он был молодым и энергичным чиновником и хотел разделаться со мной побыстрее.

— Но каким образом?

— Читайте сами, — он пододвинул мне бумагу.

Это был счёт на перечень вещей, выданных юнге «Гамбурга» Гюнтеру Прину, подписанный самим Шлангенгрипером. Перечёт

начинался с морских сапог за сорок пять марок и содержал длинный перечень других вещей: рабочую одежду, сигареты и всяческую мелочь, которой я пользовался на борту судна. Безмолвно уставился я на бумагу…

— Однако, — сказал Виташек. — За такие деньги на берегу ты мог бы опустошить целый буфет.

Он рассмеялся. Но мне было не до смеха: и вот для этого-то я работал полгода… голодая… замерзая… надрываясь… стирая ладони до кровавых пузырей… Для этого?!

— Как же я доберусь домой? — спросил я, дрожа от негодования.

— Пароходство готово выдать вам взаймы плату за проезд в четвёртом классе, — высокомерно ответил служащий.

— Ах вы, толстосумы… — начал я…

Но меня удержал Стёвер. Положив мне на плечо свою широкую руку, он сказал:

— Неси свой крест, юноша. Возьми деньги и уходи. Здесь ты больше ничего не получишь.

Я расписался, и мы ушли.

— Ну, не опускай голову, Принтье, — сказал Виташек на лестнице. — Мы берём тебя с собой. И сейчас навестим одно местечко рядом.

— За тебя плачу я, — побренчал Стёвер серебром в кармане.

— И я тоже, — добавил Виташек.

Моряк с полным кошельком — господин. Мы убедились в этом сами.

Сначала на такси мы поехали смотреть в «Большой свободе» дамскую борьбу. Это было желание Виташека. Однако девушки оказались слишком худые, и мы отправились в танцевальный зал.

Он был всего в паре кварталов отсюда, но Гарри Стёвер настоял на том, чтобы швейцар вызвал для нас такси. Дескать, «он не пойдёт пешком, пока у него в кармане есть хотя бы один пфенниг».

Ремонт парусов в ясную погоду.

Ремонт парусов в ясную погоду

Танцевальный зал перед сочельником не работал, и мы поехали сначала к Трихтеру, а затем к Алказару. И повсюду мы заказывали по два или три грога. «Северный медведь!» — командовал Гарри Стёвер с интонацией Шлангенгрипера.

В последнюю очередь мы оказались на чёрной кушетке у Гермины Ханзен. Виташек сидел справа, а Стёвер — слева от меня. Мы пили и пили… Гарри Стёвер, размазывая пьяные слёзы по щекам, лепетал:

— Ещё одно плавание, Прин, и я соберу денег достаточно… Я куплю себе кафе «Звезда Давида». Знаешь, есть такое золотое дно, там у гавани… Я стану трактирщиком… И если ты однажды придёшь ко мне, то бесплатные пиво и грог у старины Гарри будут для тебя до упаду… Это я тебе говорю! И по этому поводу закажем ещё… Хе, фройляйн!..

Заспанная девица за буфетом поднялась, пошатываясь, и принесла ещё три порции грога. Затем три порции рома… Однако нас ничто не брало. После шестой порции Стёвер вытащил свою боцманскую дудку и засвистел. Все повскакивали… Затем наступило время расплачиваться, потому что в четыре часа утра уходил мой поезд.

Такси доставило нас к вокзалу. Рука об руку мы поднялись наверх и в предутренней мгле стали прогуливаться по перрону в ожидании поезда. Он подошёл. Окна вагонов были освещены. Прощаясь, мы обещали никогда не забывать друг друга и

обязательно увидеться в будущем.

Служитель в красной фуражке подал сигнал к отправлению. Как только я поднялся в тамбур, поезд тронулся.

Стёвер и Виташек стояли на перроне, крепко обнявшись, и пели, и слова песни громким эхом отзывались под навесом перрона:

Rolling home, rolling home,
Rolling home across the sea,
Rolling home to di, old Hamborg,
Roling home, mien Deern, to di.

Я же говорил, что это лучшая из шанти, которые мы поём, и поют её только однажды, когда поднимают якоря, чтобы начать плавание в порт приписки, домой…

В тревоге надежд и в дыму парохода

Несколько недель спустя я вернулся в Гамбург и нанялся на «Пфальцбург».

Это было большое грузовое судно, которое с грузом в тюках следовало к западному побережью Южной Америки.

— Ты выбрал себе прекрасный «Богемский лес», — сказал мне рулевой катера, на котором я отправился на борт «Пфальцбурга».

При этом он показал на безобразный чёрный пароход, весь покрытый грузовыми стрелами.

— Работёнка на них… сорок градусов в тени… О-хо-хо, — сочувственно покачал он головой.

Мы ошвартовались. Закинув свой рюкзак за спину, я поднялся по трапу. Наверху меня встретил маленький, широкоплечий мужчина с круглым лицом и расплющенным носом. Это был боцман «Пфальцбурга».

— Тебе чего? — спросил он.

Я протянул ему свидетельство о найме. Он прочитал и поднял брови:

— Да уж, только тебя тут и не хватало!

— А почему бы и нет? — ответил я.

Он пожал плечами:

— Отправляйся в кубрик команды, — и показал рукой на бак судна.

Кубрик был пуст.

Я осмотрелся. Тесное, низкое помещение. Шесть коек посередине. Парами, одна над другой. Железные кровати с проволочными сетками, как в казарме. На переборке — жестяной шкаф, а на подволоке — две голые тусклые лампочки, которые горели постоянно, днём и ночью. На койках повсюду грязное бельё. Рундуки закрыты висячими замками.

Я вспомнил «синагогу» на «Гамбурге». Как там было уютно! Всё из древесины. Койки прикреплены к переборке. Рундуки никогда не запирались: на парусных судах краж не было.

Шаркая ногами, вошёл молодой парень. Обе руки в карманах брюк, сигарета косо в углу рта. Он остановился и с любопытством уставился на меня:

— Ты откуда к нам?

— Нанялся матросом. А ты?

— Юнга.

Я вспомнил о том, как меня приняли на «Гамбурге», когда я сам пришёл туда юнгой.

— Скажи-ка, ты здесь со всеми матросами на «ты»?

Он развязно опёрся спиной на одну из коек и посмотрел на меня оценивающе:

— Конечно, само собою.

— Ну, а я во всяком случае не хочу этого. Я полагаю, что юнга должен обращаться к матросам на «вы».

Он вынул сигарету изо рта и принял независимый вид. Затем повернулся и, мурлыча под нос, удалился. Снаружи он трижды прокричал петухом и бегом отправился на корму, гремя ботинками на деревянных подошвах.

Спустя полчаса прозвучал сигнал к обеду, и я отправился в столовую команды.

Маленькое помещение с банками, прикреплёнными к переборкам, и узким столом посередине. За ним сидели четырнадцать человек, в основном люди, по возрасту старше меня. Среди них был и судовой юнга. Все сосредоточенно хлебали суп.

Я протиснулся между двумя из них на свободное место.

Напротив меня сидел верзила в рубашке с закатанными рукавами. Когда я сел, он поднял голову и посмотрел на меня:

— А, новый герр матрос, — и, чавкая, продолжил есть.

Юнга захихикал.

Я посмотрел на верзилу. Он выглядел жестоким. Широкое лицо, обезьяноподобный лоб над маленькими, глубоко посаженными глазами, волчий оскал. На открытой части груди виднелась синяя татуировка грот-мачты парусника, а на открытой части кожи руки — любовной парочки, которая двигалась вместе с игрой его рельефных мышц. Это был Мэйлунд, бич, абсолютный властитель в носовом кубрике.

— Откуда ты прибыл? — спросил меня мой сосед, невысокий матрос с лицом, напоминающим засушенный абрикос.

— С парусника «Гамбург».

— А-а, ты, наверно, из этих, «О.А.»[16]?

Все сразу насторожились и пристально посмотрели на меня. Теперь я понял, что имел в виду боцман при встрече со мной. Кандидаты в офицеры были здесь, кажется, не очень популярны.

— Да, я «О.А.», — ответил я, не скрывая.

Они замолчали и продолжали есть. Однако время от времени я ловил на себе чей-нибудь неприязненный взгляд. В воздухе повисла напряжённость.

После обеда, когда я шёл из кают-компании, бич остановил меня за руку:

— Послушай-ка, малый, такого плавания — с «вы» и «господин матрос», у нас ещё не было. Мы здесь все одного и того же сорта, на этой посудине, понял?

И, не дожидаясь моего ответа, он вышел, гора мяса и костей…

Спустя неделю мы вышли в море. И начались будни, серые будни повседневности на грузовом судне: отбивать и соскабливать ржавчину, соскабливать и отбивать ржавчину.

Не успевали мы привести в порядок корму, как покрывался грязью и ржавчиной бак. И снова, и снова…

С ржавчиной дело обстояло хуже всего. Она нарастала, как плесневые грибки на влажном хлебе, повсюду: на дымовой трубе, на палубе, на переборках, на грузовых стрелах. Мы сбивали её молотками, соскабливали скребками. Затем поверхность зачищали корщётками, протирали олифой, покрывали свинцовым суриком и, в последнюю очередь, краской. С утра до вечера работа была одной и той же: молотки и скребки, олифа, свинцовый сурик и краска.

В этой круговерти перестаёшь чувствовать себя моряком. Скорее напоминаешь рабочего металлического завода, который случайно попал в море. Я был рад, когда время от времени попадал на вахту рулевым или сигнальщиком. Это, по крайней мере, было собственно морским делом.

Однажды я оббивал ржавчину на дымовой трубе. Закуток был тесным и низким. Я стоял на коленях и стучал молотком по коричневому слою ржавчины и остаткам краски.

Тут надо мной раздался голос бича:

— Ты что, до белого металла хочешь добраться?

Я молча продолжал свою работу. Он нагнулся ко мне вплотную:

— Вот что я давно хотел тебе сказать. Я ничего не имею против того, что ты строишь из себя прилежного юношу перед теми, наверху. И, по мне, ты можешь первому хоть сапоги лизать. Я хотел бы только спросить, ведь ты это всё делаешь лишь как кандидат в офицеры?

Это было подлой ложью. Я всегда делал свою работу так хорошо, как только мог. И ни перед кем не ползал. Этот бич, он это знал точно так же, как и я.

Я встал и посмотрел на него. Молоток был у меня в руке. Ухмыляясь, он смотрел на меня сверху вниз, с высоты своего роста, на полторы головы больше моего.

— Не чванься, — продолжал он. — По мне, ты можешь делать всё, что хочешь. Но я хотел бы вот что тебе сказать: я уже по горло сыт замечаниями: «Быстрей работай, Мэйлунд», — он передразнивал первого офицера, — «Прин сделал вдвое больше». Я сыт этим по горло. Понял, ты? И другие тоже. Нас тошнит от этого. Мы все свободные члены профсоюза, все на борту этой

посудины. И мы не позволим этой банде наверху вить из нас верёвки.

Он смачно сплюнул мне под ноги табачной коричневой жвачкой.

Я оставался совершенно спокойным. Было ясно, что он подстрекал меня. Только спокойствием и разумом можно было пробить стену его ненависти.

— Ну, ладно, — сказал я. — Но ты сам-то подумай своей пустой головой: ты требуешь полной зарплаты, но всячески уклоняешься от требуемой работы. Это грязный обман, мой дорогой. И если вы сами начинаете с грязного обмана, то как вы можете жаловаться на работодателей?

Он уставился на меня немигающим взглядом. До него явно не доходило то, что я ему сказал. Это было совершенно очевидно.

Ворча что-то себе под нос, он удалился. Но отныне он оставил меня в покое.

Всё шло своим чередом, пока мы не прибыли в «пекло». «Пекло» — это западное побережье Южной Америки. Сорок пять градусов в тени! И в эту жару сплошные погрузки и выгрузки, днём и ночью. Иногда за сутки мы посещали до четырёх гаваней.

Свободная вахта больше не существовала. Каждая пара рук была на учёте. Я редко смотрел на ландшафт побережья. Когда выпадали полчаса на отдых, мы как мешки, падали на свои койки и тут же засыпали.

Однажды ночью в Сан-Антонио я был вахтенным по внутренним помещениям. Часть команды сошла с борта и пьянствовала где-то в городе. Я охотно последовал бы за ними, но вахта есть вахта.

Я стоял внизу в трюме, освещённом яркими лучами прожекторов. Портовые рабочие, коричневые метисы с блестящими от пота спинами, гуськом поднимались на борт, нагружались бутылками с вином и исчезали в тёмном проёме люка грузового трюма.

Эти парни были ловки на руку, и приходилось держать ухо востро, чтобы они не прихватили что-нибудь с собой. Тем более что у нас на борту было много самых разнообразных товаров, и грузовой трюм выглядел как универсальный магазин: ватерклозеты, иконы, бритвенные лезвия, ремесленный инструмент и многое другое, одно рядом с другим.

В полночь был объявлен перерыв для приёма пищи. Рабочие сидели внизу на набережной, а я поднялся на верхнюю палубу.

Здесь было тихо и прохладно. Я смотрел на город, который сверкал в ночи тысячами огней. Он располагался на возвышенности, и за ним высились тёмные силуэты гор. Это

выглядело, как будто о тёмные стены гор билась искрящаяся волна.

Внизу на набережной возник шум. Это возвращались члены экипажа, уволенные на берег. Они здорово нагрузились и теперь с грохотом сыпались со сходни на палубу.

Шествие возглавлял бич. Увидев меня, он подошёл, покачиваясь на нетвёрдых ногах:

— Ну ты, дерьмо! Ты снова подвизаешься на нижней вахте? Снова выслуживаешься перед начальством, ты, таракан?

— Сам таракан, — ответил я.

Мгновение он непонимающе смотрел на меня:

— Что ты сказал?

— То, что ты слышал.

Он тяжело дышал, сопя носом. Он придвинулся ко мне вплотную, а остальные образовали полукруг. В тусклом свете палубных фонарей лица были почти неразличимы. Но я чувствовал, что все были настроены ко мне враждебно.

Спереди к нам приблизились шаги. Это был третий помощник, который совершал обход судна.

— Приходи в кормовой кубрик, если ты не трусишь, — рявкнул бич.

Он перебросил через плечо свою куртку и пошёл в корму. Остальные последовали за ним.

На мгновение я задумался: чему быть, того не миновать. И уж если решать этот вопрос, то лучше сразу, сейчас.

У входа в кормовой кубрик собралось столько народа, что я должен был пробираться внутрь, как боксёр к рингу. Все столпились в узком проходе, превратив его в зрительный зал. Ощущалась атмосфера ожидания захватывающего зрелища.

В самом кубрике было только двое: Мартенс, который спал на своей койке, и бич. Он стоял с засученными рукавами и играл мышцами предплечий.

Я подошёл к своей койке, медленно стянул с себя куртку и повесил её на перекладину. Затем повернулся к бичу. Мы стояли друг перед другом: сто девяносто фунтов против ста тридцати.

— Покажи ему, Билли! — выкрикнул юнга из прохода; остальные молча ждали.

Я принял боксёрскую стойку, согнул руки и начал упруго покачиваться на ногах. Бич стоял неподвижно, как колода, опустив вниз руки с тяжёлыми, как пудовые молоты, кулаками. Он показывал полное пренебрежение к моим приготовлениям.

— Ну, давай, подходи, — глумился он.

Я шагнул вперёд и нанёс ему удар прямой правой в челюсть. Нокаутирующий удар не получился, так как в кончик подбородка

я не попал. Он встряхнул головой, как будто бы хотел освободиться от воды в ушах, и за тем стал медленно надвигаться на меня. Проход между койками и переборкой был узок и недостаточен, чтобы отскочить или уклониться.

Он размахнулся и бесхитростно ударил. Я видел направление удара и сумел уклониться. Однако его кулак прошёлся по моему уху. Вспыхнула острая боль, и я почувствовал, как горячая кровь потекла по моей шее.

Теперь он хотел меня схватить и двинулся на меня с раскинутыми руками. Я отпрыгнул. Осталось только одно: хватка за большой палец руки.

Я схватил большой палец его правой руки и что было силы заломил его назад. Бич упал на колени и застонал:

— Отпусти, ты, собака!

Если я освобожу его сейчас, он добьёт меня. Это я знал точно. Поэтому я продолжал удерживать его палец изо всех сил.

Пытаясь освободиться, он натужно пыхтел. На лбу выступили капли пота.

— Пусти!

Но я рывком нажал, как только мог. Раздался хруст… Большой палец был сломан.

— А-у-у! — заревел он; потом изменившимся, жалобным тоном: — Отпусти, Прин, отпусти же! Я больше не буду!

Я освободил его палец. На всякий случай сделал шаг назад… Но он остался сидеть на полу, обхватив свой палец и раскачиваясь от боли. Как и все физически сильные люди, он не был упорным в борьбе.

Зрители стали входить внутрь и располагаться на своих койках. Говорили мало.

Я подошёл к зеркалу. Ухо было надорвано. Я прижал его носовым платком и побежал к вахтенному, чтобы сделать перевязку.

— Как это случилось? — спросил меня третий помощник.

— А… ящик свалился, — пробормотал я.

Сразу вслед за мной вошёл бич и показал свой сломанный большой палец.

— Вот, упал, — сказал он жалобно.

Третий помощник ухмыльнулся:

— Не странно ли? Прину падает на голову ящик и надрывает ухо, а ты падаешь сам и ломаешь палец… До утра придумайте-ка что-нибудь другое. Если расскажете вот это капитану, вас ждёт серьёзная головомойка.

Когда я с перевязанной головой вернулся в кубрик, все встретили меня недоброжелательными взглядами. Я сделал вид,

как будто бы ничего не заметил, и молча переоделся.

Спустя десять минут вошёл бич. Его перебинтованный большой палец торчал кверху, как восковая свеча.

— Прин, держись теперь от меня подальше, — сказал он громко.

Так было установлено перемирие. В последующие дни мы обходились друг с другом с взаимно подчёркнутой вежливостью.

Спустя четырнадцать дней в Тальтале он ночью сошёл с судна вместе с двумя друзьями. Якобы его внезапно охватила страсть к путешествиям, причём такая, что ей не мог противостоять никакой бич. И он ушёл, хотя потерял при этом своё месячное жалование. Он намеревался отправиться в Диамантину.

Зато я обрёл теперь покой, хотя меня и недолюбливали матросы. Ведь в их глазах я был и оставался одним из «О.А.». Однако при этом я был ещё тем, кто отважился вступить в единоборство с самим бичом, и это, по крайней мере, вызывало у них ко мне уважение.

Перед морским арбитражным судом

В дверь постучали.

— Герр Прин, вы приглашаетесь на мостик к господину Буслеру, — обратился ко мне стюард.

— Сейчас буду! — я соскочил с койки, прыгнул к умывальнику и открыл кран горячей воды.

Через окно мне была видна часть прогулочной палубы «Сан-Франциско». Под лучами солнца каюта выглядела светлой и уютной: большое зеркало, кожаный диван и широкий сервант со многими выдвижными ящиками в нижней части. Здесь можно было жить…

Я надел синюю форменную одежду с тонкими золотыми полосками на рукавах и головной убор. Я кивнул себе самому в зеркале: «Четвёртый помощник на «Сан-Франциско»… Штурманский экзамен и патент радиста в кармане… Первые ступеньки служебной лестницы были позади»…

Первый помощник принял меня на мостике:

— Поезжайте в Американское иммиграционное бюро, господин Прин, у главного вокзала. Мы должны принять пассажиров.

Отдав честь, я отправился в путь. У седьмого причала я нанял такси. Иммиграционное бюро располагалось в деревянном бараке. Там было оживлённо, как на вокзале в зале ожидания: мужчины, женщины и дети стояли группами, носильщики кричали, время от времени бегали врачи в белых халатах.

Я впервые имел дело с пассажирами. Они осадили меня, как оводы потную лошадь, и забросали меня глупыми вопросами: «Будут ли на борту танцы, и примут ли в них участие офицеры?», спрашивала немолодая дама со сверкающими глазами; «Какие меры мы приняли, чтобы предотвратить кораблекрушение» — хотел знать сильно надушенный мужчина…

Наконец я посадил всю эту публику, около пятидесяти человек, в автобус, и мы отправились в гавань. На борту судна я передал свою трескотливую орду стюардам, а сам отправился на мостик с докладом.

Наверху я встретился с третьим помощником. Мы ещё не виделись с ним. Короткое представление: «Прин» — «Шварцер».

— Пассажиры уже на борту, господин Прин? — приветливо спросил он. — Удивительный народ! Вам следует остерегаться их, особенно женщин. В море они чертовски нуждаются в опеке. Поверьте моему опыту!

Мне оставалось только удивиться. С его курносым носом и

глазами навыкате он совсем не выглядел ловеласом.

В этот момент на мостике появился маленький толстый мужчина, чрезвычайно элегантный, в тёмном пальто, котелке и светлых гетрах. Шварцер вытянулся перед ним. Это был «Старик».

Я представился ему и доложил о выполнении поручения.

Короткий испытующий взгляд маленьких серых глаз: «Хорошо, господин Прин, спасибо», — и он исчез в своей каюте.

— Чрезвычайно строг в обхождении, неоднократно испытано, — пояснил Шварцер вполголоса. — Всех офицеров заставляет качать солнце, качать звёзды[17], вести судовой журнал, следить за грузом, нести радиовахту… Да, офицерам здесь нелегко.

Мы прогуливались по мостику взад и вперёд. На палубе стояли пассажиры, закутанные в толстые пальто, и смотрели на нас вверх. Время от времени мы украдкой посматривали вниз и чувствовали себя на седьмом небе. Ведь Шварцеру тогда было двадцать три, а мне — двадцать один год…

Одиннадцатого марта мы вышли из Гамбурга. Была холодная, серая ночь, сыпал снег. Когда я незадолго до четырёх поднялся на мостик на «собаку», началась вьюга. Видимость уменьшилась до расстояния вытянутой руки.

Мы поднимались вверх по течению Везера и находились приблизительно на широте маяка Хохвег. «Сан-Франциско» шёл средним ходом. Через короткие промежутки времени гудел туманный горн.

Бусслер, первый помощник, стоял на мостике рядом с лоцманом. Они обсуждали, не лучше ли было стать на якорь.

— Прин, отправляйтесь на бак и вместе с Циммерманном готовьте якорь к отдаче, — крикнул мне первый помощник.

Я ринулся по трапу вниз и на бак. На палубе было темно, всё палубное освещение выключено. Сквозь шум шторма время от времени слышался рёв туманного горна.

Я постучал в переборку носового кубрика и позвал Циммерманна. Через минуту он вышел, пошатываясь после сна и держа в руке фонарь.

Мы поднялись на бак к якорю правого борта. Я склонился вниз, а Циммерманн светил мне фонариком. Я бросил взгляд вперёд, туда, где вода сливалась с туманом. И увидел чуть правее нашего курса яркий белый свет!

Повернувшись к мостику, я закричал громко, как только мог:

— Огонь справа по курсу!

Я не знал, расслышали ли меня на мостике из-за туманного горна. Огонь быстро приближался, он находился от нас на расстоянии не более нескольких сотен метров. Добежать до мостика я не успею!..

Я снова закричал во всю силу своих лёгких:

— Огонь по курсу справа!

Передо мной возник тёмный силуэт одного из сигнальщиков.

— Опасность! — крикнул я ему. — Беги в кубрик! Буди всех!

Он убежал. С мостика донеслась команда Бусслера, усиленная мегафоном:

— Право руля!

Но свет огня впереди приближался, пока так и оставаясь на нашем курсе. Сквозь шум ветра я слышал, как сигнальщик будит команду в носовом кубрике:

— Подъём! Валите отсюда, если жизнь дорога!

В следующий момент перед форштевнем выросла огромная черная стена. Удар!.. Одновременно грохот и скрежет железа, раздираемого железом. Крен на правый борт.

Короткие команды с мостика:

— Стоп обе машины! Обе машины полный назад! Право на борт!

«Сан-Франциско» медленно повернулся и заскользил вдоль высокого борта другого судна. Сверху на нас смотрели ряды освещённых бортовых иллюминаторов. Затем чужое судно, как привидение, исчезло позади нас в снежной пелене…

Я спустился вниз, чтобы осмотреть повреждения. Было разрушено тросовое отделение и разорвана переборка носового кубрика. Внутри свистел ветер. Но чудесным образом никто из команды не пострадал.

Когда я вернулся на бак, в воду с грохотом уходила якорь-цепь правого борта. Я бегом отправился на мостик.

По пути я видел, как распахивались двери кают, и возбужденные пассажиры высыпали на палубу. Визжащий женский голос кричал: «Артур, на помощь, мы тонем!». И глубокий бас отвечал: «Успокойся, любимая, я же умею плавать!»

«Старик» был в штурманской рубке. Он только что встал с постели. Его знобило от лихорадки.

— Вы что, не видели судно раньше? — строго спросил он меня.

— Нет, господин капитан.

— А как называлось судно?

— Не заметил, господин капитан.

Он процедил сквозь зубы проклятие.

— Ох уж эти ученики на штурмана!

— Вы осмотрели пробоину? — спросил меня первый помощник.

— Пробоина над водой, господин Бусслер.

«Старик» подошёл к окну и побарабанил пальцами по стеклу:

— По крайней мере, он хоть это видел, — проворчал он.

— Попытайтесь установить название судна, с которым мы столкнулись, господин Прин, — распорядился первый помощник.

Уходя, я отдал им обоим честь. Первый помощник ответил на моё приветствие, а «Старик» сделал вид, что не заметил его.

Внизу, в радиорубке, я сел к радиотелеграфу.

«C.Q., C.Q., — телеграфировал я. — Всем, всем. Здесь теплоход «Сан-Франциско». Только что имели столкновение при подъёме вверх по течению. Просьба сообщить имя столкнувшегося с нами судна…»

Вслед за этим я надел наушники и стал ждать… Никакого ответа.

Затем тонкий писк ответного сигнала: «Здесь спасательное судно «Зеефальке». Следую вверх по течению из Бремерхафена. Нуждаетесь ли вы в помощи?»

«В помощи не нуждаемся», — ответил я.

Стоит позволить этим стервятникам буксировку — и придётся в возмещение стоимости услуги заплатить половину стоимости судна.

Я продолжал ждать. Наконец снова писк сигнала. Позывной парохода регистра Ллойда. Текст: «Имел столкновение. Пожалуйста, ждите…». Потом долгая пауза. И снова сигналы морзянки: «Для «Сан-Франциско». В помощи не нуждаемся». И подпись: «Карлсруэ».

Слава Богу! Я сорвал с головы наушники, вскочил и выбежал наружу.

Все пассажиры столпились на палубе. Они кутались в меха. Один из них остановил меня. Это был тот самый надушенный толстяк с чёрными миндалевидными глазами.

— Вы ведь четвёртый помощник?

— Да, господин…

Он не нашёл нужным представиться.

— Тогда я хотел бы задать вам один вопрос, — продолжал он. — Я слышал всё, молодой человек! Это самое невероятное, что случалось со мной до сих пор!

Его голос звучал всё громче и возбуждённей. Вокруг нас стала собираться публика.

— Перед аварией вы разбудили экипаж! — Он повернулся к окружающим. — И вы знаете, господа, что он сказал? Он сказал: «Каждый, кому дорога его жизнь, должен встать и спасаться!»

— Простите, я не так сказал.

— Что-о? Вы хотите меня уличить во лжи? Господа, вы представляете себе? Экипаж будится, потому что судно в опасности. А мы, пассажиры, обрекаемся на то, чтобы утонуть!

Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Толстяк нашёл свою публику. Как я узнал позднее, он был оперным певцом.

— Странные у вас здесь обычаи, должен я вам сказать. То, что долг офицеров — оставаться до последнего момента, а долг капитана — гибнуть с судном, это вам, по-видимому, незнакомо, юноша?

Ох, с каким удовольствием я врезал бы в эту по-бабьи тестообразную физиономию! Но пассажир — гость на судне, и мне остаётся лишь вежливо ответить:

— Если вы полагаете, что имеете основания для жалобы, мой господин, то обратитесь, пожалуйста, непосредственно к капитану.

Я оставил его и поднялся на мостик:

— Разрешите доложить, господин капитан? Название того парохода — «Карлсруэ». К счастью, он не нуждается в никакой помощи.

«Старик» повернул ко мне голову, медленно обвёл меня взглядом с ног до головы и зло произнёс:

— К счастью? И вы ещё этому радуетесь? Лучше, если бы вы были повнимательнее. Тогда не случилось бы всё это свинство!

— Я не чувствую за собой никакой вины, господин капитан!

Он уставился на меня, затем молча встал и направился к двери. На пороге он обернулся:

— Вашу вину установит морской арбитражный суд! — и с этими словами захлопнул дверь за собой.

Я почувствовал себя так, как будто получил удар деревянным молотом по голове.

— Как вы полагаете, господин Бусслер, эта история действительно дойдёт до морского арбитражного суда? — повернулся я к первому помощнику.

Он пожал плечами:

— Возможно.

— И чем это кончится?

— Можете быть спокойны, — сказал он горько. — Эти господа вокруг зелёного стола всегда находят козла отпущения! Мне пришлось там однажды побывать. У западного побережья США. Там на рассвете мимо нас проходил плот. Знайте, такой длинный плот из древесных стволов, какие спускаются вниз по Миссисипи. Ещё ночью плот развалился на волнах, а утром мы наткнулись уже на его обломки. Там было пять или шесть пассажиров, которые громко взывали о помощи. Если бы подвахтенный кочегар не оказался бы в это время случайно наверху у поручней и не поклялся бы в том, что он видел плот, я

бы его и не заметил…

У меня пересохло в горле:

— А если меня признают виновным, то чем это мне грозит? — перебил я его.

— Что я точно знаю, — ответил он неприязненно, — лишение патента, в худшем случае.

Разговор прекратился. Мы стояли рядом и пристально смотрели в ночную темень…

«Утрата патента, — размышлял я, — конец карьере… Хлопоты на многие годы… И, в конце концов, помощник капитана без патента… Это меньше, чем матрос».

Невесёлые мысли всё сильнее бередили мою душу…

С рассветом мы снялись с якоря и около восьми часов были в Бремене.

Когда я после вахты возвращался в свою каюту, то пассажиры встречали меня враждебными взглядами. Ко мне подошла маленькая девочка и мило спросила:

— Вы попадёте теперь в тюрьму?..

В Бремене повреждение было освидетельствовано специалистами.

Ущерб составил тридцать пять тысяч марок…

После ремонта мы снова могли продолжать свой рейс. Для меня рейс оказался очень плохим. «Старик» избегал общения со мной. Он обращался ко мне с холодным равнодушием, которое ранило сильнее, чем самые горячие упрёки.

Поэтому я удивился, когда однажды он вызвал меня на мостик. Мы стояли перед Сан-Франциско, и судно было окутано густым туманом.

«Старик» находился в штурманской рубке. Он выглядел озабоченным, как крестьянин, осматривающий свои скудные угодья.

— Умеете работать с радиопеленгатором? — спросил он.

— Конечно, господин капитан.

— Тогда возьмите-ка радиопеленг!

Я поднялся на мостик и выполнил приказание. Сняв радиопеленга, я прошёл в штурманскую рубку и определил наше место. Сразу вслед за мной вошёл «Старик». Он посмотрел на карту через мое плечо.

— Всё, что вы сделали, — дерьмо, — сказал он грубо. — Мы должны находиться здесь!

И он показал указательным пальцем на обозначенное на карте место, которое было западнее моего.

Я не ответил.

— Ну, ладно. Определитесь снова, теперь уже по береговому

ориентиру[18].

— Есть, господин капитан.

«Как же так? — подумал я. — Если не доверяешь мне, то мог бы спросить обо мне у других».

Я спустился в радиорубку и взял пеленг на станцию на берегу… Новое место оказалось ещё восточнее, чем предыдущее.

«Старик» ждал меня в штурманской рубке. Когда я доложил ему об этом, он напустился на меня:

— Вы что, совсем Богом обижены? Достаточно ясного человеческого разума, чтобы понять, что всё это чепуха! — Наморщив лоб, он пристально посмотрел на карту. — Ваш пеленг неправильный, он не должен так проходить! Возьмите его ещё раз!

Я повторил замер. Новое место точно соответствовало первому.

На этот раз «Старик» не сказал ничего. Сложив руки за спиной, он начал быстро шагать по штурманской рубке взад и вперёд. Его сапоги громко стучали по настилу палубы.

— Я приму моё место, — выдавил он из себя.

— Тогда через два часа мы сядем на мель, — ответил я.

Он остановился:

— А если я приму ваше место, и мы сядем при этом на мель?

Я знал, что мне теперь нечего терять:

— Господин капитан, я всё же рекомендую вам сместиться на фарватер согласно моему определению, а затем лечь на курс фарватера.

Он опалил меня взглядом взбешённого бульдога:

— Хорошо! Однако если при этом мы сядем на мель, то у вас будет возможность узнать меня поближе. Тогда хлебнёте у меня горя перед морским арбитражным судом!

Он круто развернулся и выскочил из рубки. Я остался в штурманской рубке один. Снаружи туман стоял непроглядной стеной, и в нём бесследно и безответно тонули наши туманные сигналы. Я испытывал весьма щекотливое чувство: если и сейчас всё пойдёт наперекосяк, то я погиб… Потому что «Старик» был верен своему слову, и это я знал определённо.

От напряжения я покрылся потом. Спустя полчаса я доложил:

— Капитану: время поворота на курс фарватера сорок два градуса!

«Старик» спустился ко мне.

— Хорошо… Ложиться на курс сорок два градуса! — скомандовал он, не глядя на меня.

Затем он снова поднялся к себе.

Если моё место было верным, то мы должны были теперь

находиться недалеко от побережья, и в ближайшее время следовало ожидать появления лоцманского катера.

Но никого не было видно. Только ночь и туман…

Тут в дверь просовывает голову вахтенный:

— Сигнальщик докладывает, что впереди слышно пять коротких звуковых сигналов!

Я поднялся на мостик к сигнальщику. Мы внимательно прислушались вдвоём. Шли секунды… И вот, наконец, спереди доносится звуковой сигнал, пока ещё очень слабый, отдалённый.

В десяти шагах от меня стоял «Старик», неподвижный, как тёмная статуя в тумане.

— Господин капитан, впереди по правому борту лоцман! — произнёс я вполголоса.

Мой голос немного дрожал, и это мгновение было самым прекрасным за всё время моего пребывания на «Сан-Франциско».

— Вы что, принимаете меня за глухого? — был его ответ. — Я слышу это уже давно.

Я вернулся в штурманскую рубку. «Старик» последовал за мной по пятам:

— Спуститесь на палубу и примите лоцмана.

И когда я уже направился выполнять его распоряжение, добавил как бы против воли:

— На этот раз вы всё сделали хорошо.

Это было высшей похвалой, которую я когда-либо от него слышал.

С тех пор он стал относиться ко мне любезнее. И когда мы на обратном пути были в ста двадцати милях от побережья, он отослал меня с мостика вниз. Последние три дня я вообще не должен был более нести никакую вахту, а лишь играть роль пассажира и при необходимости быть готовым снова заняться радиопеленгацией.

Однако при всём этом я всё ещё испытывал страх перед морским арбитражным судом. Бусслер же полагал, что слушание дела может и вовсе не состояться, так как, в конце концов, никто не погиб и не пострадал.

Когда мы прибыли в Гамбург, я бросился на почту. На моё имя вызова не было. Не получили его и «Старик» с первым офицером.

Я облегчённо вздохнул. Но вечером на борт прибыл капитан Шумахер из управления. Он исчез в капитанской каюте, и когда они вышли снова, «Старик» сказал мне мимоходом:

— Прин, слушание дела в морском арбитражном суде в Бремерхафене через три дня.

— Теперь они доберутся до нас! — добавил Бусслер.

В девять часов утра следующего дня на борт пришёл старый шкипер. Это был пожилой лысый человек с седой бородой. Мы сели вместе в пустой кают-компании, и я заказал для него грог и бутерброды с ветчиной. Он рассказал мне, что раньше он был капитаном судна вдвое больше нашего. В течение двадцати лет! А теперь, когда он состарился, его просто списали с пенсией в сто восемьдесят марок в месяц… Он спросил, можно ли ему забрать с собой оставшиеся бутерброды для жены и, получив моё согласие, с застенчивой улыбкой тщательно завернул их и сунул в сумку.

Чтобы не смущать его, я отвернулся: «Что с ним стало!? И что станет теперь с мной? Через три дня предстоит слушание дела»…

В ночь накануне суда я был на вахте. Это было хорошо, так как я всё равно не смог бы заснуть…

Мы стояли в длинном, тёмном коридоре старого административного здания в Бремерхафене: «Старик», первый офицер, я и несколько человек из команды. Сразу вслед за нами прибыли и офицеры с «Карлсруэ».

Холодное приветствие…

Мы стоим перед большой коричневой дверью в зал заседания, а офицеры «Карлсруэ» — у окна напротив.

День пасмурный, и от этого в проходе, в котором мы стоим, царит полумрак.

— Не переживай, Прин, патент не стоит этого, — утешает меня «Старик».

Мимо нас проходит худощавый мужчина с козлиной бородкой и в очках. Все дружно приветствуют его. Он холодно кланяется в ответ и исчезает в зале заседаний.

— Это рейхскомиссар, — пояснил нам «Старик», — своего рода государственный обвинитель на процессе.

После него прибывают ещё несколько господ с портфелями, которые выглядят довольными и благополучными. Один из них, улыбаясь, даже кивает нам головой.

— Эксперты, — поясняет «Старик», — все они из Бремена и окрестностей.

— Для нас, гамбуржцев, это плохо, — мрачно резюмирует Бусслер.

Наконец, в последнюю очередь примчался маленький господин в чёрном костюме и проскользнул в зал заседаний, как крот в нору. Это был сам председатель. Сразу после этого нас приглашает судебный клерк.

Большой унылый зал. За столом — председатель с заседателями. Слева от них — рейхскомиссар.

Мы подходим к столу, передаём наши патенты и трудовые книжки.

— Надеюсь, мы увидим их снова, — шепчет мне Бусслер.

Затем нас рассадили.

Председатель объявляет об открытии слушания.

Первым заслушивается капитан «Карлсруэ». Он выступает очень решительно. Он поясняет, что «Карлсруэ» из-за непогоды и повреждения машины стал на якорь. Впрочем, он сделал всё необходимое: в колокол звонили через короткие промежутки времени, а при нашем приближении был дан предупредительный сигнал.

Закончив давать показания, он кланяется суду и отступает в сторону. В целом он оставил после себя хорошее впечатление.

Затем приступает к даче показаний наш «Старик». По его признанию, у него нет собственных свидетельств. Во время происшествия его лихорадило, и он с высокой температурой был в своей каюте.

— Так-так, — говорит рейхскомиссар. — А вы не могли пригласить на время болезни другого капитана?

— Не мог же я знать заранее, что заболею гриппом, — грубо отвечает наш капитан.

На этом он и заканчивает. Понятно, что пока всё складывается в пользу «Карлсруэ».

Вызывают Бусслера. Они берут его в оборот чертовски жёстко. «Почему он не стал на якорь с наступлением плохой погоды?». — Он возразил, что на середине фарватера этого нельзя было делать. «Почему он не уменьшил ход?». — Он и так следовал средним ходом, был его ответ.

— Средний ход — это полумера, — возразил комиссар. — Вы должны были следовать малым ходом.

Бусслер не находит, что сказать.

— А что вы сделали потом?

— Я послал на бак четвёртого офицера готовить якорь к отдаче.

— А кто четвёртый?

Я встаю. Установление анкетных данных…

— Итак, вы находились на мостике вместе с господином Бусслером? — спрашивает меня рейхскомиссар.

В такт своим словам, как бы усиливая их значимость, он постукивает остриём своего золотистого карандаша по столу.

— Так точно.

— Когда всё это произошло?

— Незадолго до четырёх.

— А точнее?

Это явная ловушка! Я чувствую это инстинктивно, но напрасно пытаюсь понять, куда он клонит.

— Минуты за три-четыре.

— Ага! — Он резко поворачивается к лоцману. — Вы говорили только что, что это было в полной темноте?

Лоцман кивает головой.

Рейхскомиссар снова обращается ко мне. Стекла его очков сверкают.

— Опыт показывает, что для того, чтобы привыкнуть к темноте, требуется минимум семь-восемь минут. Ничего удивительного в том, что вы ничего не видели.

Вмешивается один из зкспертов:

— Простите, господин рейхскомиссар, но молодые глаза быстрее привыкают к темноте!

Я посылаю ему свой благодарный взгляд.

Рейхскомиссар строит на лице такую мину, как будто бы он надкусил стручок перца.

— Прекрасно, — возражает он, — мог привыкнуть, а мог и не привыкнуть.

Он снова обращается к Бусслеру:

— Когда на судне впервые, собственно, увидели «Карлсруэ»?

— Об обнаружении мне доложил четвёртый.

— И что вы увидели, господин Прин?

— Я заметил белый огонь впереди и справа по курсу.

— Хм-м. А теперь расскажите нам подробно, как всё это происходило. Итак, вы получили команду готовить якорь к отдаче. Что потом?

— Я побежал на бак, разбудил Циммерманна, и мы вместе отправились готовить шпиль.

— И посмотрели вперед только после этого?

— Так точно.

— А вам не пришло в голову сначала осмотреться за бортом?

Я молчал.

В этот момент вмешивается наш «Старик»:

— Для чего нужен весь этот разговор? Четвёртый получил команду готовить якорь к отдаче — следовательно, он и должен сначала заняться якорем. И на этом баста! На моём судне люди приучены выполнять приказания, и ничего иного не должно быть!

Он говорит громко и напористо. Председатель позвонил:

— Я должен вас, однако, просить, господин капитан!

И ощущение того, что перевес не на нашей стороне, крепнет.

В заключение Бусслер даёт показания о мероприятиях после столкновения. Он точен и последователен. Лишь время от времени с вопросами вклинивается рейхскомиссар.

Затем объявляется об окончании слушания дела, и суд удаляется на совещание. В ожидании его решения мы

прогуливаемся по коридору взад и вперёд.

— Чем это закончится для нас, господин капитан? — спрашиваю я.

— Это игра в рулетку.

Наконец, нас снова приглашают в зал заседаний. Входит суд, и судья оглашает приговор: «Причиной явилось неблагоприятное стечение обстоятельств при плохой погоде. Иных причин не выявлено, виновных нет».

Я почувствовал, как гора свалилась с моих плеч. И когда мы вместе спускаемся вниз по лестнице, и Бусслер спрашивает меня, что я намерен теперь делать, я отвечаю громко и уверенно:

— Пойду в шкиперскую школу для получения патента капитана.

Безработица

В конце января тысяча девятьсот тридцать второго года я успешно выдержал экзамен на звание капитана дальнего плавания.

Мне казалось, что я преодолел рубеж, после которого моя карьера будет успешно складываться сама собой. Однако вместо этого пришла безработица.

Сразу после рукопожатия прюфунгскомиссара[19] я нанял такси и ринулся на поиски работы.

У Хапага, у Сломэна, в танкерном пароходстве В. А. Ридеманна… Повсюду одно и то же: сочувственное пожатие плечами, вздох «Да, конъюнктура!» И, в лучшем случае, как слабое утешение, обещание: «Мы будем вас иметь в виду…»

Чтобы не упустить возможный шанс, я оставался в Гамбурге и жил со своих скудных сбережений. Наконец, когда не осталось никаких надежд, я попытался стать писателем. Купил сто листов писчей бумаги, старый англо-немецкий словарь и начал переводить одну из самых лучших книг, которые имелись у меня под рукой, — о чайных клиперах. Но от всей этой чепухи моё терпение лопнуло уже на пятидесятой странице…

Как мог, мне помогал Гарри Стёвер, мой старый боцман с «Гамбурга». Он владел теперь кафе «Звезда Давида» и говорил мне не раз: «Ты можешь есть и пить у меня, сколько хочешь, кэптен Прин. Располагай всем, что я имею». Его поддержка была искренней, но нельзя было и злоупотреблять ею.

И тогда я однажды сел на вечерний скорый поезд и отправился домой к моей матери.

Я прибыл в Лейпциг ранним серым февральским утром. Когда я поднимался по лестнице к нашей квартире, сердце моё выскакивало из груди. Нелегко возвращаться домой восемь лет спустя, без денег, работы и положения.

Я позвонил. Мне открыла мать. За эти годы она стала седой.

— Мальчик мой! — воскликнула она, увлекая меня в прихожую.

Затем мы вошли в гостиную. Всюду, на столе и стульях были разложены макеты для витрины, выполненные из дерева муляжи ветчины и колбас.

Я с любопытством рассматривал их.

— Ах, — сказала мать, улыбаясь, — раньше ты часто насмехался над моей живописной ветчиной, а теперь я расписываю её натуральные модели.

Она приготовила мне завтрак, а затем я лёг на диван и стал

изучать газетную рекламу. Сначала биржа труда… Это оказалось безнадёжным: по двадцать заявлений на одно место и ни одного предложения.

И постепенно ко мне пришло осознание того, что и здесь царит такая же безработица, охватывающая всё и вся днями, неделями и, вероятно, даже годами.

Поиск работы совершенно безнадёжен. Мысль бесполезно бьётся между несколькими вариантами, уже утратившими смысл. И вдруг меня пронизывает простая и ясная мысль. Я поднимаюсь рывком. У меня же оставались знакомые, школьные друзья с состоятельными родителями! Если они ещё живы-здоровы и не ударились головой, то должны же они найти мне какую-то работу, какое-то дело.

Не выкинут же они меня просто так из жизни и не оставят на произвол судьбы…

— Пока, мама! — кричу я в соседнюю комнату.

И снова беготня, от дома к дому, от бюро к бюро. И снова одно и то же! Многие из друзей и знакомых и сами выброшены на обочину, прекратили учёбу, отказались от освоения желанной профессии, цеплялись за уже захваченное место, наполненные страхом потерять его и утонуть в массовом наплыве безработицы. И у многих, теперь уже у слишком многих, дела обстояли так же, как и у меня. Они слонялись без дела, стучались во все двери подряд, но находили их закрытыми и безмолвными. Они стали замкнутыми, разочарованными, но при этом снова и снова надеялись на чудо — чудо, которое называлось работой.

На третий день моей беготни я встретил Хинкельхауса. Он изучал юриспруденцию и пока ещё не закончил обучение. И хотя и у него не было денег, он не сдавался и открыл юридическую консультацию.

— Если хочешь, можешь работать у меня в качестве заведующего бюро, — предложил он. — Разумеется, без содержания. Но если появится заработок, то мы будем вести дело на паях.

Я согласился.

Бюро находилось на Айзенбанштрассе. Маленькая, пустая комната с двумя столами, пятью стульями и вывеской на двери: «Эрнст Хинкельхаус, юрисконсульт». Это было всё.

В течение следующих восьми дней я регулярно, каждое утро, отправлялся туда с пакетом бутербродов в сумке, а вечером возвращался домой. И за все эти дни я никого, кроме самого Хинкельхауса, в бюро так и не увидел.

Мы подолгу обсуждали это горестное время и недееспособность правительства, которое позволило народному

хозяйству прийти в упадок. Эти споры были очень интересны, но если дела пошли бы так и далее, то моя доля дохода в конце месяца составила бы ровно половину от ничего.

Хинкельхаус решился, наконец, для поиска клиентов отправиться по судам. Я же должен был дежурить в бюро. Таким образом, я остался один и подолгу смотрел наружу на серую улицу, на кровли крыш у железнодорожной насыпи, и ждал. Но клиенты не приходили.

Спустя восемь дней юридическая консультация закрылась. Навсегда.

Я снова оказался не у дел. Теперь оставался только один путь: на биржу труда.

Утром я отправлялся к старому жилому дому бедноты в Георгенринге.

В серой и грязной комнате ожидания уже сидели несколько людей. Они выглядели изнурёнными, совершенно изношенными, как будто нужда полностью выела их изнутри, и от них осталась только оболочка. Каждый раз, когда раздавался звонок, вставал один из них и исчезал за дверью с молочными стёклами.

Наконец пришёл мой черёд. Я одёрнул свой костюм и вошёл. За барьером сидел и писал мужичонка с жидкими седыми волосами. Усталым, притуплённым взглядом он посмотрел на меня поверх стёкол очков:

— Имя… Профессия… Дата рождения…

Его перо скрипело, и зелёный нарукавник медленно полз вслед за ним по бумаге.

— Почему вы явились только теперь?

— Потому что сначала я пытался найти работу сам.

— Ну да, — сказал он и протянул мне регистрационное удостоверение безработного. — Первое денежное пособие — через три недели на Геллертштрассе.

— А как быть до тех пор? — спросил я покорно.

Но он уже нажимал на кнопку звонка для вызова следующего посетителя.

В середине марта я отправился за пособием на Геллертштрассе. Хотя я и пришёл туда пораньше, к восьми часам утра, но застал там уже многих других посетителей.

Очередь, как длинная серая змея, маленькими толчками медленно продвигалась вперёд.

«Рум-бум…» — гремит штемпель в окошечке. Очередной готов, и все смещаются на шаг вперёд. «Рум-бум… Рум-бум…» Два шага. Очередь перемещается ритмично, напоминая процессию нищеты. Ритмично, в такт ударам литавр нужды.

Подошла моя очередь. Всё произошло так же быстро. Я

спрятал деньги и быстро вышел. К этому времени очередь стала ещё длиннее. Притуплённые взгляды, безысходность, затхлый запах бедности. И постоянное «рум-бум… рум-бум…», которое действует так удручающе.

Я вышел на улицу. Идти было некуда… Я остался на самой нижней ступеньке жизни. Почему? Как это зависело от меня самого?

Годы пребывания на морских судах никак не похожи на жизнь сыра в масле. И теперь, когда я пробился, наконец, через все препоны, земля стала уходить из-под моих ног. В свои двадцать четыре года я был обездолен и опустошён.

Почему? Каждый, кого ни спроси, пожимал плечами: «Да, мой дорогой, нет никакой работы, такова жизнь!» Чёрт побери! Почему эти, там наверху, министры, партийные бонзы, чиновники, ничего не делали, чтобы всё изменить?! Как они могли спать спокойно, если здесь молодой человек, здоровый и сильный, нуждается в работе… жаждет работы! И при этом истлевает от безделья, как гнилая солома!

Жалкая подачка, которую они бросали нам, спасала только от голодной смерти. Да и её-то давали вынужденно, так как страшились нашего отчаяния. И при этом безнравственно обволакивали нищенские гроши лживыми статьями своих газет, которые были переполнены прекрасными оборотами речи и социальным сочувствием. Ах, эти господа, они лишь катились накатанной дорогой своих предвыборных изречений: «Живи сам и позволяй жить другим»! Но действительность лишила их громкие фразы мишуры. Мы здесь, внизу, видели жизнь такой, какой она была на самом деле. «Живи сам и позволяй умирать другим!» — вот что было их настоящим девизом!

Меня охватила лютая ненависть к этому лживому безразличию. И в эти дни я стал членом национал-социалистского движения…

В колонне "Хундсгрюн"

Я заявил о своем желании вступить в организацию добровольной трудовой повинности.

Чтобы действовать наверняка, я написал одновременно в несколько трудовых лагерей. Но все они отклонили мою просьбу. Дескать, я уже недостаточно молод в свои двадцать четыре года…

Только Лампрехт, руководитель лагеря в Фогтсберге, согласился взять меня. «Если вы согласны начать рядовым добровольцем, — писал он, — то можете прибыть».

Через три дня я выехал. Дорога была скучной. Одна получасовая стоянка в Плауене. Я шёл по маленькому городу с неровной булыжной мостовой и белыми домами ремесленников. Было жарко и пыльно. Конец августа, лето шло к закату, листва деревьев начала желтеть.

Я ощущал ущербность предстоящей жизни. Если бы речь шла о море, я был бы рад, а сейчас радоваться было нечему. Понятно, что любая активная деятельность лучше, чем гнилое прозябание в безделье. Но всё же я душой и телом уже был моряком, а моряк на суше чувствует себя как утка на берегу.

В саду одной из вилл сидела девушка, белокурая и вся в белом. Я смотрел на неё, и горько осознавал, что меня от неё отделяет гораздо большее, чем решётка палисадника.

Решение созрело мгновенно. Я зашел в цветочный магазин, купил розы и отправился прямиком в палисадник, в котором сидела девушка.

Когда я открыл кованую железную дверь, она звякнула. Девушка подняла на меня глаза. Я подошел к ней прямо через газон, протянул ей букет, наклонился и поцеловал её.

От удивления у неё открылся рот, но она ничего не сказала. А я постоял ещё мгновение, затем повернулся, вышел и не оглядываясь быстро пошёл вниз по улице, к вокзалу. На этом моё пребывание в Плауене окончилось. Поезд двинулся дальше, и во второй половине дня я прибыл в Ольсниц.

Трудовой лагерь был размещён в замке, высоко над городком. Ранее это строение служило женской тюрьмой. Окна были ещё зарешёчены, и камеры внутри напоминали ячейки в улье.

Посыльный проводил меня к руководителю лагеря. Мы шли через множество дверей по железному настилу, который дребезжал под нашими ногами. Посыльный постучал и открыл дверь. Навстречу нам поднялся руководитель лагеря.

Лампрехт был высок и сухощав, с жёстким лицом и открытым взглядом.

— Значит, это вы, — сказал он, когда я представился. — Так вы согласны начать рядовым добровольцем?

— Так точно!

Он протянул мне руку.

— Тогда я приветствую вас, Прин, как товарища. Идите к заведующему складом и получите одежду. И скажите, что вы приписаны к колонне «Хундсгрюн»[20].

Ещё раз рукопожатие, и я оказываюсь снаружи.

Я получил свои вещи, старое армейское обмундирование. Затем мне выделили рундук и нары. В колонне нас было около семидесяти человек. Мы размещались в большом, светлом помещении, которое раньше было рабочим залом для заключённых.

Я разместил свои вещи и стал ждать. Колонны были ещё снаружи на работах. Около пяти часов они вернулись. Их было слышно издалека. Они вошли во двор замка и с шумом и рёвом поднялись вверх по лестнице.

Ко мне члены колонны отнеслись настороженно. Маленький, истощённый юноша спросил:

— Ты — корабельный офицер?

— Да, и что?

— Мы давно слышали о том, что к нам такой должен прибыть, — смутился он и спрятался за спинами других.

Я осмотрелся. Почти все они были юношами в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Оказалось, что раньше большинство из них выполняли работу ковровщиков на большой фабрике, внизу у вокзала. Они выглядели жалкими и истощёнными, во всех сквозила робость и покорность, какие характерны для людей, которые слишком долго испытывают страх возможной утраты ежедневного хлеба. Они с любопытством поглядывали на меня, но никто ни о чём больше не спрашивал.

Следующим утром, в половине шестого, началась служба. Колонны вышли во двор замка и получили дневной рацион: хлеб, масло, колбасу, кофе и фляжку с тёплым чёрным бульоном, который назывался «потом негра».

После завтрака колонны были разведены на работы, на грузовиках или пешком, смотря по тому, как далеко располагалось место работы. Колонна «Хундсгрюн» шла строем пешком.

Пройдя через Ольсниц, мы двинулись затем по шоссе вдоль долины Эльстер. Недалеко от деревни Хундсгрюн была стройплощадка. Она располагалась на склоне луга, который полого спускался к реке. На реке дребезжала водяная мельница, а с другой стороны над нами вплоть до гребня горы тянулся лес.

В наше задание входил дренаж болотистого луга. Я должен был вырубать дёрн и затем копать узкую канаву глубиной полтора метра.

С одиннадцати до двенадцати — обеденный перерыв. Мы расселись на стволах поваленных деревьев на краю леса, ели и переговаривались. Затем работа продолжалась до половины третьего. По окончании работы мы построились и отправились в обратную дорогу. В половине пятого состоялся обед, единственная горячая пища за день.

Затем мы были свободны, если только руководителю лагеря не приходило в голову устроить строевые занятия.

Так продолжалось изо дня в день, и я в некоторой степени стал привыкать к новой жизни. Только в свободные вечера и по воскресеньям было тоскливо.

На окружающую природу можно было смотреть только из окон замка. Склоны гор были густо засажены лесом и терялись вдали в его синеватом мерцании. Это выглядело, как если бы высокие зелёные волны тянулись из глубины голубого неба, застыв на мгновенье в своём движении.

Я часто с тоской вспоминал о море…

Однажды поднялся большой переполох: исчез заведующий складом. В его поисках мы обегали весь замок и городок, осмотрели все камеры, но бесполезно: его нигде не было. Наконец мы нашли его в одной из необитаемых камер в левом крыле замка. В этой камере никто не жил с тех пор, как закрылась тюрьма. Когда мы открыли дверь, в нос нам ударил затхлый запах тлена и плесени. Заведующий складом лежал на нарах с газовым шлангом во рту. Чтобы действовать наверняка, он заклеил себе ноздри и углы рта лейкопластырем. Однако смерть далась ему всё же в муках. Его правая рука вцепилась в шею, как будто бы в последнее мгновение он хотел избежать смерти.

Мы вынесли его наружу и вызвали врача. Пытались привести в чувство. Но всё напрасно: он был мёртв и уже начал коченеть.

Почему он сделал это? Вот что было для нас вопросом. «Он заведовал кассой», — сказал кто-то. Кассу тут же подвергли ревизии, но бухгалтерская книга была в порядке, а деньги на месте.

Мы осмотрели его рундук. Связка писем от его девушки, последнее — трёхдневной давности. «Прошло четыре года моего ожидания, — писала она. — Я устала ждать. Ты, наверно, так и не найдёшь себе работу, и до нашей женитьбы я успею состариться…»

Да, в эти годы везде стали обычными нужда, нищета, отчаяние и безнадёжное будущее… Нужно было быть

чрезвычайно стойким, чтобы вынести всё это…

После обеда меня вызвали к руководителю лагеря. Он встретил меня перед входом в свою камеру. Рядом с ним стоял руководитель колонны «Хундсгрюн».

— Товарищ Прин, — обратился ко мне Лампрехт, — я назначаю вас руководителем седьмой группы.

— А Нестлер? — спросил я.

Нестлер был моим прежним руководителем.

— Нестлер станет управляющим хозяйством, — ответил он.

Я щёлкнул каблуками и отошёл. Конечно, меня радовало, что меня продвинули так быстро. Но чувство радости было слегка омрачено последующими событиями…

Утром при построении моё назначение было объявлено официально. Для меня мало что изменилось. Я всё так же должен был снимать дёрн и копать канаву. Время шло, и наша работа становилась всё тяжелее. Наступил октябрь со своими туманами и дождями. Мы увязали в болоте. Не раз нас застигал ливень, и мы возвращались в замок промокшие до нитки.

На пасху нас проинспектировал глава местного управления. Это был длинный, тощий субъект, настоящая канцелярская крыса. Мы прозвали его «замученным петухом». Обходя наше хозяйство, он непрерывно журчал обо всём с показным знанием дел и вёл себя, как наш кормилец, потому что военизированная трудовая повинность получала дотации из окружной кассы.

Утром следующего дня он появился в обществе толстого лысого господина, который оказался инспектором министерства внутренних дел Саксонии. Они оба пошли с руководителем нашей колонны через луг, останавливаясь тут и там на рабочей площадке и делая разные замечания.

Я был убеждён, что они ничего не понимали в дренажных работах. В особенности толстяк из министерства, который за свою жизнь наверняка не выдрал из земли ни одного пучка травы.

Всё это утро шел мелкий дождь. Для этой поры это было обычным. Но тут с гребня горы надвинулась тёмная туча, и дождь хлынул струями.

В трудовой колонне было принято при мелком, моросящем дожде продолжать работу, а при начале ливня прятаться от него в строительной будке или на опушке леса.

«Замученный петух» и господин из министерства уже давно стояли там с руководителем колонны.

Мы посматривали на руководителя колонны, но он не подавал нам знака, разрешающего уйти в укрытие. Люди начали недовольно ворчать. Я бросил свою лопату на траву и подошёл к ним.

— Скажи, как долго ты собираешься держать нас под дождём? — обратился я к руководителю колонны.

Он пожал плечами:

— Понимаешь, инспекция.

— Ну, если у тебя самого не хватает смелости, тогда тебе лучше передать право руководства другому.

— Кому? Тебе, что ли? — с вызовом спросил он.

— А почему бы и нет.

— Хорошо, я передаю тебе руководство колонной, — сказал он.

При этом он явно почувствовал облегчение. Я подождал, пока он не отошёл. Затем свистнул. По этому сигналу мои люди бросили работу и помчались к строительной будке.

«Замученный петух» набросился на меня:

— Как это называется? — фырчал он. — Почему вы разрешили людям уйти?

— Так дождь же идёт! — ответил я.

На мгновенье он поперхнулся от моей наглости. Тут вмешался толстяк из министерства:

— А куда ушёл ваш руководитель колонны?

— Наложил в штаны! — меня понесло.

Толстяк опешил. Однако через мгновение распорядился:

— Дайте команду продолжить работу.

— Не дам.

— Я приказываю вам по службе!

— Приказы я получаю от моего лагерного руководителя.

— Посмотрим! — сказал «замученный петух» угрожающе. — Кто вы вообще?

— Руководитель группы товарищества Прин.

Он вытащил книгу и сделал какие-то пометки.

— Так, — сказал он. — Вы прикажете людям продолжить работу?

— Я уже сказал: нет!

— И почему же? — снова включился в разговор толстяк.

— Я ответственен за здоровье своих людей.

— Так, — сказал «замученный петух», — с меня достаточно. Господин инспектор, пойдёмте, пожалуйста. Оставаться здесь далее не имеет смысла.

Они вышли под дождь и лугом пошли вниз к шоссе. Так и шли они рядом, маленький толстяк и худой верзила. На шоссе их уже ждал служебный автомобиль. Они сели в него и уехали.

Когда мы вернулись в замок, меня вызвали к руководителю лагеря.

Толстяк из министерства и «замученный петух» с Лампрехтом

находились в его камере. Они сидели со злорадными физиономиями, как примерные мальчики, которые наябедничали на товарища, и теперь предвкушают наказание проказника.

— Товарищ Прин, расскажите, что случилось в «Хундсгрюн», — строго сказал Лампрехт.

Я коротко доложил.

— Это так, господа? — спросил их Лампрехт.

Оба согласно кивнули.

— Так как ваш прежний руководитель колонны в понедельник уходит, с этого момента я назначаю на эту должность вас, товарищ Прин, — сказал Лампрехт.

— Благодарю вас и обещаю быть верным своему долгу!

— Но… — запыхтел толстяк из министерства.

Он встал. Вслед за ним поднялся и «замученный петух».

— Вы раскаетесь в этом, господин Лампрехт, — сказал толстяк повышенным тоном.

Однако вслед за этим никаких мер не последовало…

Через месяц Лампрехт ушёл в отпуск и назначил меня исполняющим свои обязанности.

Если моё предыдущее выдвижение на должность руководителя колонны в лагере восприняли довольно спокойно, то теперь старожилы были взбешены. Я отчётливо видел это по выражениям их лиц. Особенно обойдёнными чувствовали себя «старики» со стажем пребывания в лагере около двух лет. Открыто мне никто из них ничего не говорил, потому что в лагере была установлена строгая дисциплина. Но в общении со мной преобладал раздражённый тон. Чтобы завоевать их расположение, мне нужно было проявить свою заботу о них…

По утрам я выполнял дела, связанные с бумагами, а затем весь день носился на мотоцикле от одной стройплощадки к другой и следил за порядком.

Однажды вечером мне позвонил мельник из Тальгрунда — местечка, расположенного недалеко от Хундсгрюна. Речь шла о колонне «Хундсгрюн». Кто-то из колонны украл у него ветчину.

— Когда вы обнаружили пропажу?

— Три дня назад.

Я пообещал ему строго разобраться и сделать всё от меня зависящее.

Проклятье! Если прошло уже три дня, то, скорее всего, ветчина давно съедена, и кроме кости, от неё ничего не осталось. Попытка разобраться на построении явно не привела бы к успеху.

Вечером, после того, как прозвучал сигнал «Отбой», я распорядился поднять всех снова: «Ревизия рундуков». С переносной лампой я шёл от рундука к рундуку, от нар к нарам.

Под соломенным тюфяком одного юноши из Дрездена я нашёл то, что искал: ветчина! Она была целёхонькой, не было отрезано ни кусочка.

Я приказал руководителям колонны и группы, в которых состоял правонарушитель, прибыть ко мне. После нашего предварительного разговора вызвал его самого. Он оказался маленьким бледным юношей с оттопыренными ушами. В его чёрных глазах отражался страх побитой собаки.

— Ты украл ветчину на мельнице?

Долгая пауза. Затем почти неслышно:

— Да.

— Почему? — Он молчал. — Так почему? — подошёл я к нему вплотную.

Он заплакал. Он плакал беззвучно, только лицо его исказилось в гримасе, и слёзы текли по щекам.

— Ты будешь говорить?

Несколько всхлипов, сопровождаемых молчанием. Я понял, что от него ничего не добьёшься.

— Ну что же, — сказал я. — Завтра утром ты должен покинуть лагерь. Ранним утром. И тебе никогда больше не разрешается здесь появляться.

Он щёлкнул каблуками, большие пальцы вдоль швов брюк, хотя слёзы лились, не переставая.

— Да, после этого доверять ему больше нельзя, — согласился с моим решением руководитель колонны, когда правонарушитель вышел.

Затем вышли и они оба. Я остался один.

Я лёг на нары, скрестил руки за головой и стал размышлять над этим случаем. Глупая история! Особенно обидно, что она случилась как раз при моём руководстве… Стук в дверь.

— Войдите!

На пороге стоял Мэнтей. В мерцающем свете свечи его лицо выглядело жёстко, почти зло.

— Я хотел бы поговорить с тобой, товарищ Прин.

— Пожалуйста, — поднялся я ему навстречу.

— По поводу парня, который украл ветчину…

— А ты тут при чём? Пусть бы он сам и пришёл.

— Он плачет, — ответил Мэнтей.

Мэнтей относился к старожилам. Ему было уже двадцать три. До этого он работал на горнодобывающих предприятиях Рура. Слишком прямолинейный, но хороший рабочий; пожалуй, самый лучший. И прекрасный товарищ.

— Он сказал нам, что ты прогнал его, — продолжал Мэнтей.

— Я хотел бы попросить тебя оставить его.

— Нельзя. Этот парень совершил кражу.

— Он украл ветчину, — возразил Мэнтей, — потому что очень нуждается в деньгах. Его мать серьёзно больна, и он хотел послать ей денег.

— И ты веришь этому?

— Да, верю, — с убеждением сказал он.

По-честному, я и сам думал так же. Этот бедный, плачущий юноша, в общем-то, никаким вором и не был. В его пользу было и заступничество Мэнтея. Однако должна быть дисциплина. И я не мог помиловать его, как бы мне этого не хотелось, даже ради Мэнтея.

— Посмотри-ка, товарищ Мэнтей, — я говорил, насколько мог дружески. — Ты должен это понять. Пусть я прощу ему сейчас этот проступок. Но после этого можно ждать, что завтра ко мне придёт любой подлец и скажет: «Когда тот парень украл ветчину, ты закрыл на это глаза. А я — что, не такой?» И куда же мы придём? Нет и нет! Юноша должен понести своё наказание. И, кроме того, подумай, что скажут там, снаружи? «В лагере добровольной рабочей повинности сброд воров»!

— Мне наплевать на то, что там скажут снаружи, — грубо ответил Мэнтей, — но далеко не безразлично, что станет теперь с этим парнем. Когда этот несчастный вернётся домой, где больная мать и безработный отец, и объявит, что изгнан за воровство, поверь мне, этим дело не кончится…

Я встал. Мы были одного роста, и наши взгляды встретились в упор.

— С меня достаточно, — сказал я жёстко. — Всё остаётся так, как я решил. Баста! Отправляйся спать!

Он постоял еще мгновение, играя желваками, затем повернулся и вышел. Я снова остался один.

Впервые я почувствовал противоречие жизни со всей остротой: здесь — участь отдельного человека, там — благо коллектива, общества. Я сделал выбор в пользу коллектива и был уверен, что буду поступать так и в дальнейшем, как бы тяжело мне при этом не было.

При построении на следующее утро дрезденец уже отсутствовал. Я позаботился о том, чтобы он покинул замок ещё на рассвете. Мне бросилось в глаза, насколько расстроенными и вялыми были люди в колоннах, но я промолчал. «Они снова придут в себя», — подумал я. У меня ещё не было достаточного опыта руководства людьми, но я твёрдо знал уже тогда, что упрямство нужно душить в зародыше, иначе оно может перехлестнуть через край.

Вечером, когда колонны вернулись и, как обычно, обедали, в столовую пришёл я.

— Приятного аппетита, — сказал я.

Никто не ответил. Беседа за столом прекратилась, однако ощущалось какое-то напряжение. За одним из столов они сомкнули головы и пошептались. После этого кто-то пробубнил вниз под стол:

— Этому мы пересолим ветчину!

Раздался смех. Я поднял голову и посмотрел в этом направлении.

Сразу стало понятно, от кого исходили эти слова: Мэнтей!

— После обеда всем быть в зале для собраний! — объявил я громко.

Все притихли, но потом говор усилился.

Я понимал, что теперь наступил решающий момент. Если я уступлю, то они выйдут у меня из подчинения навсегда. Рухнет дисциплина в лагере. Я не мог разочаровать Лампрехта таким результатом…

Через полчаса все собрались в большом помещении, которое служило нам для проведения собраний. Стоял ноябрь, и снаружи было уже темно. В мерцающем свете свечей по стенам метались тени голов. Я вышел и встал перед ними.

— Товарищи! — обратился я к ним. — Вы все знаете, что здесь случилось вчера. Я должен был удалить одного из нашей среды, так как он совершил воровство. Я знаю, что некоторые из вас находят наказание слишком жёстким. Но я должен был принять решительные меры исключительно в общих интересах.

Бормотание на задних скамейках, которое постепенно усиливалось. Я выдержал паузу. Они продолжали. Тогда я заревел во всю силу своего голоса:

— Кому это не нравится, может уходить, но только сразу, сейчас!

Шарканье ног, чья-то спина. За ним встал второй, третий… Всего ушли тридцать человек. Почти вся колонна. Мэнтей — первым.

Я назначил старшим в зале руководителя одной из колонн и вышел вслед за ними.

— Построиться во дворе! — приказал я.

Они неохотно повиновались.

— Через полчаса вы должны покинуть замок с вашими вещами! Вы больше не принадлежите товариществу. Тот, кто останется здесь по прошествии этого времени, нарушит закон о неприкосновенности жилища. Разойтись!

Затем я вернулся в зал и объявил об этом остальным. Они

выслушали молча…

Я вернулся к себе. На душе было тяжело. Жалко тех, что ушли; жалко, что прекратила существовать целая колонна; жалко, что пролегла трещина… Но я победил, и служба пошла далее без последствий.

Через несколько дней мне стало известно, что военно-морской флот приглашает бывших офицеров торгового флота на службу для пополнения офицерского корпуса. Тяга к морю жила во мне всю жизнь; теперь она стала страстной. На последовавший запрос, даю ли я своё согласие, я ответил «да».

Так в январе тысяча девятьсот тридцать третьего года я оказался в Штральзунде. И свою службу в военно-морском флоте начал с самого начала, матросом.

Старт под водой

Для мужчины, который становится солдатом, начинается новая жизнь. Личная свобода для него сжимается, становится второстепенной. На первое место вступает приказ, жёсткая законность военной службы. Солдат всегда на службе. И все остальные события жизни отходят на второй план.

Совершенно верна старинная установка: «Кто в Пруссии клянется знамени, тот не имеет больше ничего, что принадлежало бы ему». Именно в таком духе и проходило моё военное обучение. Служба и большие политические события заслоняли собой всё остальное.

По завершении обычного военно-морского образования я был откомандирован в Киль, в школу подводного плавания.

Рекруты Военно-морских сил.

Рекруты военно-морских сил

Сначала подготовка в школе была посвящена освоению теории, которой в течение первых недель обучения мы были уже сыты по горло. Затем, с конца февраля, начиналась практика.

И вот, наконец, настал день, когда мы впервые вышли в море на подводной лодке. Я отчётливо помню этот день. Он был ветреным и прохладным. Все лодки флотилии шли кильватерной колонной вдоль Кильского канала. На каждой лодке — по нескольку учеников-офицеров. Я находился на U-3.

Когда мы прибыли в район погружения, все спустились с мостика через рубочный люк вниз, в центральный пост. Несмотря

на знание теории, мы беспомощно озирались в тесном пространстве отсека. Яркий белый свет плафонов отражался в стекле, никеле и латуни. Путаница электрических проводов, переплетения трубопроводов сжатого воздуха, нагромождение маховиков. В центре отсека — шахта перископа, рядом с ней главный компас.

Шум дизелей, который наверху смягчался шумом волн, был здесь таким, что с непривычки невозможно было понять ни одного слова. От их работы всё дрожало и вибрировало. Кроме того, всепоглощающий запах стали и масла…

Мы представились инженер-механику. Хитро поглядывая по сторонам, он начал свой первый инструктаж словами: «Никогда не забывайте, мои господа, отмечаться, когда вы хотите подняться наверх на лодке, готовой к погружению. Иначе с вами может произойти то же, что с легендарным лейтенантом Мюллером. Если бы он не выпустил в штаны пузырь, когда у него из под ног лодка ушла под воду, то захлебнулся бы, как мокрая крыса…».

Короткая команда с мостика: «Приготовиться к погружению!»

Команда репетуется в отсеки. Тут же следуют ответные доклады: «Нос к погружению готов!.. Корма к погружению готова!.. Центральный к погружению готов!»

Затем началось учебное погружение. Остановлен дизель, закрылась выхлопная труба, с глухим щелчком захлопнулась крышка люка…

«Никогда не забывайте закрывать вентили…», продолжал инженер-механик приглушённым голосом, «иначе с вами может случиться то же, что и с U-3 в заливе Хайкендорфер. Они были в учебном плавании. Кто-то при погружении не закрыл клапан вдувной вентиляции. Вода устремилась в отсек и попала на аккумуляторную батарею. Короткое замыкание. Газы. Командир лодки и ещё двое с ним в боевой рубке едва не задохнулись. Эти двое были большие люди, Веддиген и Фюрбрингер[21]».

Его слова прервал резкий звук ревуна. Заработали электромоторы. Завращались маховики клапанов, загудел вытяжной вентилятор: проверка корпуса на герметичность. Инженер-механик объявил: «Разрежение двадцать миллибар. Слушать в отсеках». Затем тишина… Только гудящее пение электромоторов. И время от времени — перекладка руля. Спустя две минуты — доклад инженера-механика: «Давление постоянное». И приказание из боевой рубки: «Приготовиться на клапанах вентиляции!» Доклад: «Готовы на клапанах вентиляции». «Открыть клапана вентиляции!»

Четверо матросов присели и рванули вниз рычаги манипуляторов вентиляции балластных цистерн. Мощный

шипящий звук, сопровождающий выход воздуха из цистерн через клапана вентиляции.

Лодка стала медленно дифферентоваться на нос, появилось чувство парения в воде, как на воздушном шаре. Затем дифферент выровнялся. Наступила мёртвая тишина. Никто не проронил ни слова. Никто не передвигался.

Только инженер-механик вполголоса отдавал приказания рулевому на горизонтальных рулях.

С шумом лифта поднялась труба перископа. Командир по очереди пригласил нас в боевую рубку. Я впервые увидел внешний мир в перископ. Поле зрения ограничивалось клочком неба и поверхности моря, и периодически закрывалось зелёной волной.

Затем мы должны были по очереди управлять рулями глубины с помощью больших штурвалов.

Через некоторое время раздаётся команда командира: «Внимание, в отсеках! Приготовиться к покладке на грунт на глубине двадцать один метр». Инженер-механик докладывает: «Пятнадцать метров… восемнадцать метров… двадцать метров… Стоп оба мотора!»

Лёгкий толчок. И вот мы лежим на грунте.

«Глубина двадцать два метра. Отрицательная плавучесть две тонны», — доложил инженер-механик.

В половине первого обед. Стол накрыт в носовом отсеке. На обед суп, ромштекс и фрукты — как для офицеров, так и для команды. Всё вкусно и в достатке.

Отсек довольно тесен и напоминает туннель. Иногда слабое бульканье свидетельствует о том, что мы лежим на дне Кильской бухты на глубине двадцать два метра. Из кормы доносится шум, какой производит при работе ручной насос.

— Что это? — спросил Шрайбер, один из нас, стажёров.

Командир промолчал, а боцман ухмыльнулся:

— Там кто-то пытается опростаться за борт, — охотно объяснил он. — А ватерклозет с ручным приводом. Рискованное мероприятие на глубине двадцать два метра!

Круглое лицо его сияло от предвкушения удовольствия. Он нашёл возможность выступить с темой, которая будоражила его воображение. «Это еще что! — продолжал он яро. — Вот во время войны как бывало. Называется это «защемить задницу», господин лейтенант. Защемить во имя отечества! Так как «круглые дукаты» моряка, выброшенные за борт, всплывают на поверхность и могут выдать местоположение лодки. Один ветеран-подводник рассказал из времён войны такой случай. Они лежали на грунте тридцать шесть часов…»

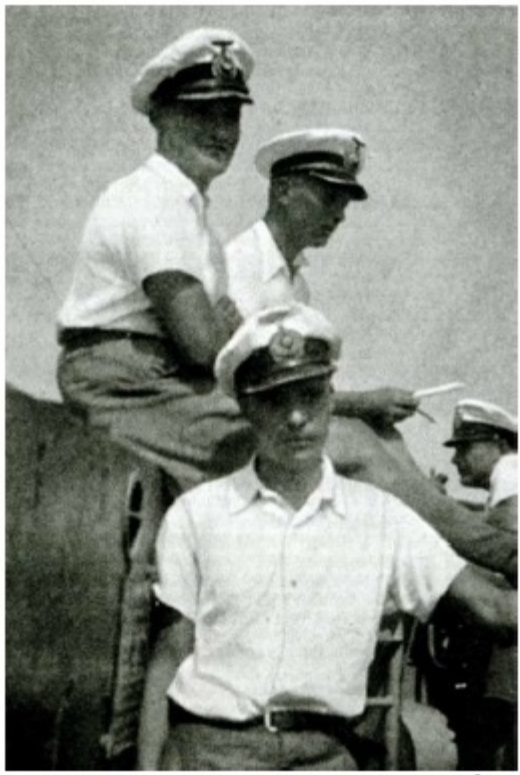
— Не могли бы вы найти для застольной беседы другую тему?! — сказал командир.

Мы провели на грунте два часа. Затем обучение продолжилось. Мы всплыли — сначала на перископную глубину, а затем на поверхность.

От тяжёлого воздуха немного поташнивало. Он был насыщен углекислотой и прогорк от запаха топлива.

С тех пор я много поплавал на лодках, и пребывание под водой стало для меня совершенно обычным делом, но воспоминание о первом погружении осталось в памяти навсегда. Потому что люди и вещи воспринимаются всегда ярче и памятнее либо при первой встрече, либо при расставании с ними…

По окончании курса я был назначен первым вахтенным офицером на U-26. Моим первым командиром был капитан-лейтенант Хартманн. «Острый как бритва, — говорили о нём, — но есть чему у него поучиться».



Фрегаттен-капитан Хартманн со своими офицерами.

Фрегаттен-капитан Хартманн со своими офицерами

U-26 находилась ещё на верфи «Дешимаг» в Бремене. По пути туда я сделал промежуточную остановку в Гамбурге, чтобы посетить Гарри Стёвера, старого боцмана с «Гамбурга», хозяина кафе «Звезда Давида», который помог мне в период моей безработицы бесплатными едой и пивом.

Я пришёл туда пополудни. «Звезда Давида» была совершенно пуста. За стойкой скучала искусственная блондинка.

— Два больших светлого… и хозяина! — заказал я.

Она посмотрела на меня с удивлением, исчезла и вскоре вернулась в сопровождении маленького, толстого господина, который на ходу застёгивал брюки. Это был далеко не Гарри Стёвер.

— Что вы желаете? — спросил он с лёгким поклоном.

— Я хотел бы видеть Гарри Стёвера.

— Ах, вот как! — его голос звучал разочарованно. — Стёвера уже два года как нет в живых.

— ?..

Он повернулся уходить.

— Как это случилось?

— Он повесился.

— Отчего же? — указал я ему на вторую кружку пива.

Он кивнул и сел.

— Вы знаете, старик Стёвер никогда не был бизнесменом. Он наливал бесплатно каждому матросу за его красивые глаза. И при этом набирался сам. В таком деле нужно кое-что понимать. А он думал, что достаточно стоять за стойкой и наливать пиво… Ого, ого!

Я поблагодарил и вышел.

По пути на вокзал я размышлял о судьбе Гарри Стёвера… «Почему, — спрашивал я себя, — он не обратился ко мне? Он так помог мне в своё время, а когда нуждался в помощи сам, то просто тихо ушёл из жизни. Слишком горд, чтобы стать кому-нибудь обузой, и слишком добросердечен, чтобы утвердиться в мире торговцев и дельцов…»

Я уехал следующим поездом. В Бремене я сразу отправился на верфь. Лодка стояла у причальной стенки, ошвартованная к понтону. С высоты набережной она выглядела крохотной.

Я спустился в корпус лодки, чтобы представиться командиру. Он принял меня в своей каюте. Коренастый, жилистый офицер с жёстким лицом, как бы изваянным острым резцом.

— Лейтенант цур зее Прин. Представляюсь по случаю назначения на U-26.

Он встал и подал мне руку.

— Вот вы какой. Я уже знаю о вашем назначении. Пока здесь

для вас нет никакого дела. Не хотите ли обратиться с просьбой о дополнительном отпуске?

Я сразу оценил ситуацию и энергично ответил:

— Так точно, господин капитан-лейтенант!

— Хорошо. Тогда отправляйтесь, предварительно на неделю.

Я поблагодарил и, окрылённый, удалился.

Мне вспомнилось недавнее прошлое. Когда я был последний раз дома, мне встретился знакомый фенрих[22]. Во время нашего разговора он показал мне групповую фотографию своих друзей на Новогоднем вечере.

Среди всех лиц одно мне сразу бросилось в глаза: белокурая девушка из сада в Плауене — девушка, которой я когда-то подарил розы и поцелуй. Это было незабываемо!

Я попросил тогда у фенриха её адрес, и написал ей.

Вскоре пришёл ответ. Она благодарила меня за моё письмо и находила его очень забавным: ведь в Плауене она никогда не была… Всё же спустя полгода она стала моей женой. И я никогда не раскаивался в путанице, которая нас сблизила…

Отпуск к жене закончился быстро. Через три дня я был отозван по телеграфу.

— Мы идём в Испанию, — сказал мне командир по прибытии. — Для защиты германских интересов.

Его лицо сияло.

Лодка поспешно готовилась к боевому походу. Принималось горючее, одновременно загружались продовольствие и боеприпасы. Уже на следующий день мы вышли в море.

Мы думали, что напряжённость в этой стране быстро разрядится. Однако это было только предгрозьем, которое вскоре разразилось грозой…

В канале мы провели испытательное погружение. Я находился в центральном посту. Отсеки поочередно доложили о готовности к погружению. Затем были поданы команды «Принять главный балласт!» и «Убрать пузырь из цистерн!»

При дифференте на корму раздался крик из носового отсека: «Торпеда, торпеда!» Я бросился туда.

Одна из торпед выскользнула из аппарата, и её хвостовая часть торчала наружу. Четверо членов экипажа, пыхтя от натуги, удерживали её от дальнейшего соскальзывания назад.

Было видно, что долго они не выдержат. Шаг за шагом торпеда смещалась в корму. И если лодка наклонится на корму хотя бы ещё немного, то торпеда неминуемо выпадет из аппарата, покалечит людей, а в случае взрыва и вообще развалит лодку.

В два прыжка я снова оказался в центральном.

— Одерживать дифферент! Торпеда пошла назад! — крикнул

я инженер-механику.

Тут же завращались оба штурвала управления горизонтальными рулями. Я же снова помчался в нос и присоединился к тем четверым. Лодка медленно выравнивалась на киле, и так же медленно мы возвращали торпеду назад, в торпедный аппарат — до тех пор, пока, наконец, задняя крышка за ней не закрылась на кремальеру.

— Как это произошло? — набросился я на унтер-офицера, торпедного механика.

Он стоял передо мной, потея и дрожа всем телом; жилы на его лбу вздулись от напряжения.

— Не знаю, — прерывисто дышал он. — Я обслуживал торпеду и провернул машину, и тут заклинило крепёжный болт.

— Значит, вы поспешили доложить о готовности к погружению!

— Так точно, — ответил он вполголоса.

Когда я доложил командиру, он вызвал виновника и тоже разнёс его в пух и прах. Однако за завтраком в кают-компании произнёс спокойно, как бы непричастно:

— Ну вот, был бы несчастный случай на производстве, и подводная лодка не нуждалась бы более в пенсионном страховании по старости.

В этом походе были и другие инциденты…

В Бискайском заливе мы попали в шторм — самый жуткий из тех, что мне пришлось когда-либо испытать. Когда я в тяжёлой штормовой одежде, неуклюжий, как бродячий платяной шкаф, поднялся на свою вахту на мостик, небо было слоисто-серое, а море чернильно-тёмное. Лодка, гремя дизелями, разрезает волны, и дождь хлещет по нашим лицам. Время от времени мы до плеч погружаемся в набегающую волну.

Но это было только началом. Тёмные волны становятся всё могущественнее и круче. Они накатываются на нос лодки и с грохотом опрокидываются на корпус.

Бинокли мы передали вниз, а сами закрепились с помощью привязных ремней. Только командир остался непристёгнутым. Он стоит на мостике впереди, судорожно сжимая руками бульверк, и, набычившись, встречает волну. Чтобы с каждой волной масса воды не попадала в лодку, верхний рубочный люк задраили.

Дизеля работают, тяжело сопя. Когда нас вздымает на гребень волны, винты оголяются, и шум дизелей усиливается…

Внимание, впереди нарастает громада девятого вала! Мы инстинктивно пригибаемся и исчезаем под ней вместе с лодкой, рубкой и мостиком. Когда мы выныриваем, отплёвываясь и откашливаясь, то обнаруживаем, что одного из нас на мостике

нет… Унтер-офицера-сигнальщика. Крепёжные стропы его пояса разорвало, и он беспомощно повис на ограждении.

Командир одним махом очутился около него, рывком помог подняться на мостик, и ещё до набега очередной волны они нырнули под козырёк. Потом унтер-офицер был отправлен вниз. До появления очередной смены мы остаёмся на мостике вдвоём.

Волны становятся всё круче. Часто лодки не видно совсем, и только рубка чуть возвышается над водой. Наконец нам ничего больше не остаётся, как нырнуть под воду. Мы дождались схода очередной волны и исчезли в рубочном люке. В следующий миг нам вслед опрокинулась громада волны. Рискованный момент — закрытие рубочного люка: командира могло бросить с водой вниз, в лодку или, наоборот, выбросить из неё.

Насосы начали свою работу, откачивая воду. Затем мы погружаемся.

Лодка погружается, и с нарастанием глубины становится всё меньшим влияние волн на поверхности моря. Вскоре ничто уже не напоминает о шторме наверху. Только слабое покачивание, да тонкое пение электромоторов.

Мы пробыли под водой много часов, а когда всплыли снова, шторм прекратился, и мы увидели в серой утренней дымке тёмную полоску испанского побережья. Ни на побережье, ни в море не было видно никаких огней, только луна просвечивала между рваными облаками.

Штурман выругался. Без ориентиров нельзя было точно определить место. Он был уверен только в том, что мы находились где-то между Бильбао и Сантандером.

С наступлением новых суток началось наше патрулирование вдоль побережья до мыса Финистерре. Море было пустынным, только иногда на горизонте появлялся дымок парохода. Побережье Испании лежало в темноте. Лишь иногда, при ветре со стороны берега, была слышна орудийная канонада. Звук проникал в кровь и порождал желание, знакомое каждому настоящему солдату: быть рядом с тем, кто сражается.

Но наше время ещё не наступило. Только однажды война подошла к нам так близко, что мы поверили было в соприкосновение с ней…

Это было перед Бильбао. Сигнальщик доложил:

— Два боевых корабля с левого борта!

Командир и я поднялись на мостик. Это были корабли Франко, «Альмиранте Сервейра» и «Веласко», крейсер и эсминец. Они полным ходом шли прямо на нас. У форштевней вздымались пенные буруны.

Мы наблюдали за ними в бинокли и видели, как их

орудийные стволы медленно развернулись в нашем направлении.

— По-видимому, они принимают нас за красную лодку, — сказал командир.

Ситуация была сложной. Я посмотрел на Хартманна. Какое решение он примет? Если мы пойдём навстречу, они могут принять это за атаку. Если отвернём, они могут принять наш манёвр за попытку к бегству. Если нырнём, то они забросают нас глубинными бомбами.

— Стоп обе машины! — приказал командир.

Мы повернули без хода, и лодка легла в дрейф, покачиваясь на волнах. Военный флаг перенесли на радиомачту, а прожектором каждые три секунды передавали: Германия… Германия… Германия…

Безрезультатно! Они продолжали сближаться полным ходом.

— Что-то душно становится, — сказал я, проводя пальцем руки за воротником.

Командир рассмеялся.

Жерла их орудий были направлены на нас. Когда расстояние сократилось до полутора миль, башни развернулись в нулевое положение. Они разошлись с нами, приветственно приспустив флаги.

Война только коснулась нас и пронеслась мимо. Наше время ещё не настало…

Первые боевые выстрелы

Осенью тысяча девятьсот тридцать восьмого года я получил свой первый экипаж.

В повседневном приказе значилось: обер-лейтенант цур зее Прин, прежняя служебная должность — вахтенный офицер флотилии подводных лодок, новая служебная должность — командир подводной лодки флотилии подводных лодок. Итак, наконец собственная лодка!

По этому приказу в начале декабря я отправился в Киль для представления командиру флотилии капитан-лейтенанту Зобе.

Он принял меня на плавбазе «Гамбург» в своей каюте:

— Ну что, вы уже были на верфи? Видели свою лодку?

— Ещё нет, господин капитан-лейтенант.

Он улыбался, но его острые серые глаза внимательно изучали меня.

— А ваших людей?

— Тоже нет, господин капитан-лейтенант.

— Тогда сначала познакомьтесь с тем и другим сразу.

Рукопожатие, скороговоркой «Очень рад, что вы прибыли к нам», взаимное немецкое приветствие, и вот я снова снаружи.

Лодка была ещё на верфи и наводила последний лоск. Узкая и элегантная, она была прекрасной.

Осматривая её, я прошёл через весь корпус, с удовольствием осознавая, что внутри мне всё знакомо до винтика.

Адъютант передал мне указание командира флотилии: на следующий день в десять утра построение моего экипажа на юте плавбазы «Гамбург».

Наступило завтра. Это был воскресный, ясный, солнечный декабрьский день.

Когда я поднимался на ют «Гамбурга», меня охватило волнение. Как перед решающей встречей. Наверху уже собрались тридцать восемь человек, с которыми мне предстояло в последующие годы разделить общую участь во всём: в добре и зле, в мире и — если это случится – войне.

При моём прибытии они построились в две шеренги: офицеры, унтер-офицеры, матросы.

Чёткая команда: «Для встречи командира — налево равняйсь! Смирно!»

Одновременный поворот головы. Подавший команду обер-лейтенант подходит ко мне: «Герр-обер-лейтенант! Экипаж построен! Обер-лейтенант-инженер Вессельс».

Рослый, широкоплечий офицер с тяжёлым подбородком и

серьёзным выражением лица.

Я встал перед фронтом: «Хайль, экипаж!» — И, как из одной глотки, в ответ разом: «Хайль, герр обер-лейтенант!»

Раньше я часто думал о том, как много я скажу в своём первом обращении к своему первому экипажу. Но теперь, когда я *уже* стоял перед ним, я сказал только самое необходимое: «Через несколько дней мы станем новой боевой единицей Кригсмарине. Я надеюсь, что каждый из вас будет выполнять свой долг так же усердно, как намерен выполнять свой долг я. Если это осуществится, то мы будем хорошо понимать друг друга».

Затем я прошёл вдоль фронта и выслушал представление каждого члена экипажа по должности и фамилии. В основном это были одинаково молодые, свежие лица, ещё не тронутые невзгодами жизни. Но некоторые из них запомнились сразу: первый вахтенный офицер Эндрасс со стройной, жилистой, спортивного покроя фигурой; штурман Шпар, тяжеловесный и самоуверенно спокойный; машинист центрального поста, широкоскулый Густав Бём; унтер-офицер-машинист торпедного отсека Гольштайн, парень с задумчивым взглядом; Смычек, лукавый парень из Верхней Силезии; моложавый Людек...

Я поговорил с каждым из них, пытаясь понять, что они собой представляют. Однако сразу эта загадка не решалась. Ведь то, что действительно определяет человека и мужчину, проявляется лишь в работе и в опасности.

Весной мы ежедневно упражнялись в управлении лодкой — сначала в бухте, а затем в Балтийском море. Во время этих упражнений я изучил свой экипаж. Видит Бог, они не были парадными солдатами. Они были мужчинами с горячим сердцем в груди, полными жажды приключений, и с избытком темперамента, который находил себе выход при каждом удобном случае. Все они пришли служить на подводную лодку добровольно, так как надеялись, что испытают здесь больше, чем в будничной службе на линкорах.

В начале августа мы вышли на учения в Атлантику. В воздухе витала сильная напряжённость, и кое-кто полагал, что, когда мы вернёмся, мир уже будет нарушен.

Учение было великолепным. В эти ясные дни позднего лета стояла чудесная погода, лёгкое волнение покрывало зеленоватую поверхность моря, ночное небо сияло звёздами. В свободное время мы слушали по радио сообщения из Германии. Голос диктора, доносящийся сюда, за тысячу миль от Фатерлянда, вызывал тёплое чувство. Однако сами сообщения были наполнены тревогой и ощущением близости войны. Учение, которое мы начали с таким усердием, утратило смысл, и стало

отчётливо заметно, как встревожены люди.

Свободные от вахты часто без сна лежали в койках и вели разговоры о политике. Особенно неутомимым был Густав Бём. Из него сквозило всезнание по всякому поводу.

Но в глубине души все мы не верили, что разразится война — по крайней мере, большая война. Потому что мысль о том, что большие народы могут позволить себе новую мясорубку, была слишком невероятной.

И всё-таки она началась…

Я отчётливо, как сегодня, помню тот час, когда мы узнали о войне. Это было третьего сентября в десять утра. Мы с Эндрассом стояли на мостике. Дул свежий северо-западный ветер и море покрывали пенистые волны, с шумом перекатываясь через носовую палубу. Лодка шла средним ходом. Со стороны кормы доносился успокаивающе равномерный стук дизелей.

Вдруг истошный крик снизу:

— Господин капитан-лейтенант! Господин капитан-лейтенант!

Из рубочного люка появляется Ханзель. Лицо его бледно и, задыхаясь, он выпаливает:

— Господин капитан-лейтенант! Внеочередное сообщение… Война с Англией!

Я камнем надаю по поручням вниз. В центральном перед приёмником стоят Шпар и ещё двое. Из приёмника гремит военный марш, будоражащий нервы. Они стоят молча.

— Ну, что? — спрашиваю я.

— Сейчас повторят, господин капитан-лейтенант! — шепчет Шпар.

Музыка прекращается, и голос диктора сообщает:

«Вы слушаете Всегерманское радио! Передаём экстренное сообщение радиослужбы. Британское правительство в своей ноте Германскому правительству выдвинуло требование возвратить немецкие войска, вошедшие на территорию Польши, в места их исходной дислокации. Сегодня, в девять часов утра, через английского посла в Берлине была передана вызывающая нота о том, что если до одиннадцати часов Лондон не получит удовлетворительный ответ, то Англия будет рассматривать себя в состоянии войны с Германией. На это британскому послу дан ответ, что Германское правительство и немецкий народ отклоняют ультимативные требования Британского правительства, не принимают их и, соответственно, отказываются выполнять».

Затем оглашается немецкий меморандум, и вновь гремит музыка военного марша.

Мы молчим. В моей голове возникает цепь рассуждений — быстрых и точных, как в машине…

Война объявлена! На море это означает войну по призовым правилам. Область ведения операций — по собственному выбору…

В лодке полная тишина. Её нарушают только звуки марша из приёмника. Все как будто задержали дыхание в ожидании нечто невероятного, что должно произойти. Эти трое тоже смотрят на меня, как заворожённые.

Я склоняюсь над картой и жестом подзываю Шпара.

— Курс двести двадцать градусов. Мы будем действовать здесь, — говорю я ему осипшим голосом и показываю маршрут.

В отдалении слышится чей-то голос:

— Боже, будь милостив к тем, кто виновен в этой войне…

Я медленно поднимаюсь на мостик. Эндрасс и оба сигнальщика смотрят на меня вопросительно.

— Да, Эндрасс, теперь дело зашло далеко…

— Ну, это не могло не случиться, — ответил он серьёзно.

Я отдаю распоряжения: «Верхней вахте наблюдение вести через бинокли. При обнаружении чего-либо немедленно докладывать мне. Особое внимание обратить на самолёты и перископы вражеских лодок!»

Эндрасс молча отдаёт честь. Я снова спускаюсь вниз. В моей каюте — маленькой выгородке, где я отдыхаю и работаю с документами, я начинаю вести дневник боевых действий. Сделав начальную запись, я откидываюсь на койку…

«Итак, война, — думаю я, — наступил час испытания на прочность». И так как я знаю, что скоро мне могут потребоваться все мои силы, я должен поспать. И действительно вскоре засыпаю…

Меня будит крик с мостика:

— Командиру: справа, по пеленгу двести облако дыма на горизонте.

Я срываю фуражку с крючка и поднимаюсь наверх.

— Где?

В бледном послеполуденном небе на горизонте виден слабый дымок. Я рассматриваю его в бинокль. По линии горизонта медленно движется нечто крохотное и чёрное. Мы подворачиваем на него. Я увеличиваю ход. Возникший носовой бурун заливает палубу.

Объект постепенно приближается. По моим прикидкам, это грузовое судно — от пяти до шести тысяч тонн.

Когда становится различимым неуклюжее сооружение мостика, мы ныряем. Дизеля смолкают. Вода с шумом заполняет

цистерны, и на высоких тонах поют электромоторы.

Я веду наблюдение через перископ из боевой рубки. По зелёной поверхности моря к нам медленно приближается судно.

Снизу в боевую рубку смотрит Эндрасс:

— Один из них? — полушёпотом спрашивает он.

— Спокойствие, Эндрасс, — отвечаю я. — Папа должен сначала рассмотреть.

Мы вышли на его курс, и теперь мы следуем навстречу друг другу. Вот уже я могу определить его национальность: это грек, старое, грязное грузовое судно, которое, астматически пыхтя, с трудом несёт на себе свой груз.

— Грек! — объявляю я в центральный; и затем: — Приготовиться к артиллерийскому бою! Приготовить сигнальные флаги! По готовности всплываем!

Топот ног внизу. С металлическим звуком извлекаются из своих ячеек снаряды. Доклад:

— К артиллерийскому бою готовы!

Всплываем. Сжатый воздух устремляется в цистерны. Отдраен рубочный люк. Вслед за мной на мостик поднимаются артиллеристы. На рубке сигнальщик с помощью лебёдки поднимает в вертикальное положение мачту с флажным сигналом.

— Предупредительный выстрел! — командую я.

Сразу раздаётся громкий голос Эндрасса:

— Огонь!

Лающий звук выстрела. Снаряд падает в сотне метров впереди по курсу грека, подняв фонтан воды. Эндрасс вновь громко командует:

— Орудие зарядить! Поставить на предохранитель!

Палуба грека напоминает потревоженный муравейник. Все бегают сломя голову. Полная неразбериха! В бинокль хорошо видно каждого в отдельности. Совершенно очевидно, что наше появление вызвало там панику.

Они замедляют ход, а затем останавливаются. И вот уже судно лежит в дрейфе, покачиваясь на волнах, и стравливает пар.

На мачте грека поднимается опознавательный сигнал и флаг страны. В ответ мы подаём флажный сигнал: «Пришлите шлюпку с документами».

Мы осторожно приближаемся. Орудие в полной готовности к выстрелу. Когда подходим на дальность голосовой связи, я через мегафон повторяю команду: «Пришлите шлюпку с документами!»

Мы видим, как на борту грека несколько человек прячется за спасательными шлюпками. Видны только их руки, поднятые в немецком приветствии.

Через некоторое время с судна доносится: «О'кей, сэр», сопровождаемое лихорадочными действиями. Обе спасательные шлюпки спускаются за борт. Команды с обезьяньим проворством забираются внутрь. Крышки люков, кранцы и доски летят за борт. Едва шлюпки коснулись водной поверхности, началась бешеная гребля, прочь от нас и от собственного судна. Они гребут так, что гнутся вёсла. Как на регате.

Малым ходом мы идём следом и спустя несколько минут догоняем их. Гребцы сразу убирают вёсла внутрь и поднимают руки над головой.

— Где капитан? — спрашиваю я.

С гребной банки поднимается рослый блондин.

— Ваши документы?!

Рука, которой он передаёт нам кожаную коричневую сумку, дрожит.

Я подробно изучаю документы. Всё в порядке. Нейтральное судно с грузом только для Германии. Нет ни малейшего повода для вмешательства.

— All right, — говорю я, возвращая сумку. — Можете следовать дальше!

Капитан смотрит на меня недоверчиво.

— Вы не должны сообщать о нашей встрече по радио, — говорю я. — Иначе я буду вынужден воспринять ваши действия, как враждебный акт.

Он поспешно кивает и поднимает руку в немецком приветствии. Мы оставляем шлюпки и уходим. Но люди в шлюпках всё ещё сидят неподвижно, как окаменевшие. И только когда мы удаляемся почти на милю, обе шлюпки поспешно возвращаются к своему судну.

— А если бы он выстрелил по нам, господин капитан-лейтенант? — задумчиво покачал головой Густав Бём.

На его круглом лице выражение искренней озабоченности.

В ответ я мягко внушаю ему:

— Дорогой Густав, во-первых, я как старый торговый шкипер способен увидеть это даже без очков. И, во-вторых, моряк-христианин, подобно тебе, должен основываться на недоверии только в исключительных случаях.

Позади на горизонте грек выбрасывает первое облако дыма…

А мы вновь движемся дальше, вдоль обычного маршрута больших пароходов.

Создаётся впечатление, что неудача первой охоты преследует нас, и в течение последующих двух суток мы не встречаем ни одной живой души.

Наконец ранним утром пятого сентября мы вновь

обнаруживаем на нашем курсе облако дыма.

Утро пасмурное, дымка. Сквозь серое покрывало низкой облачности восходит кроваво-красное солнце. При таком освещении нелегко обнаружить что-либо на достаточном расстоянии. И мы увидели облако дыма только тогда, когда из-за горизонта уже появилось и само судно. Оно шло зигзагом, периодически изменяя курс подобно стрекозе над водоёмом. Эндрасс многозначительно заметил:

— Нечистая совесть любит кривую дорожку.

Мы погружаемся. Я стою у перископа и наблюдаю за приближающимся судном. Это короткий, приземистый грузовой пароход с причудливой окраской. Дымовая труба выкрашена в ярко-красный, мачта в чёрный, а днище — в зелёный цвет. На носу большими буквами красуется: «Босния».

Англичанин! Очевидно, он уже предупреждён о подводной опасности. Было бы ошибочно появиться сейчас прямо перед ним. Вероятно, он вооружён; вероятно также, что он попытается таранить нас.

Я позволяю ему пройти мимо. Сразу вслед за этим мы всплываем и производим выстрел ему по носу. Он отворачивает, показывая нам корму, и я вижу, как за кормой вырастает бурун от полного хода. Он пытается оторваться.

Второй выстрел! На этот раз снаряд ложится вплотную с его форштевнем — так, что столб воды частично обрушивается на палубу. Но и это его не останавливает.

Одновременно снизу из лодки доклад радиста:

— Командиру: противник радирует!

Посыльный передает мне текст радиопередачи: «Меня преследует и обстреливает германская подводная лодка. Просьба о помощи»! Далее следуют координаты места и непрекращающийся предсмертный вопль: «SOS… SOS… SOS…»

Теперь нужно действовать решительно: мы должны стрелять прицельно. Я подаю знак Эндрассу.

Артиллеристы действуют быстро и точно, как на учениях. Команда Эндрасса: «Огонь!».

Короткий, резкий щелчок. Попадание! Там, на «Боснии», возникает и поднимается вверх синее облако дыма. Но «Босния» продолжает двигаться дальше…

— Пять выстрелов! Огонь беглый!

И снова, это видно отчётливо, второе попадание, за которым следует и третье.

Теперь, наконец, англичанин останавливается. Он лежит в дрейфе, как подраненный зверь. Из его люков поднимается тяжёлый сине-жёлтый чад. По-видимому, он загружен серой,

иначе это не объяснить.

Мы приближаемся к судну, и я вижу, как команда поспешно садится в спасательные шлюпки и спускает их на воду.

Ханзель, продолжающий вести наблюдение, кричит:

— Вижу дым!

Я поворачиваюсь в указанном направлении. Действительно, там на северо-западе появляется чёрное облако дыма. Мне приходит в голову мысль, что это может быть помощью для англичанина… Эсминец или лёгкий крейсер…

— Ведите за ним наблюдение непрерывно, — говорю я Ханзелю, — и как только опознаете, доложите мне.

Люди на «Боснии» в спешке совершают оплошность. Одна из шлюпок заполняется водой. На них жалко смотреть, так они беспомощны. Некоторые кричат, другие машут нам руками.

Мы подходим к тонущей шлюпке. Замманн и Дитмер легли на палубу и свесились на правый борт, чтобы принимать людей с тонущей шлюпки. Их руки почти достают до воды.

Спасательная шлюпка наполняется водой до краёв. Очередная волна накрывает её полностью. Люди оказываются в воде. Волны рассеивают их. Они держатся поодиночке. Там и тут видны их головы. События развиваются очень быстро. Кто-то, не умеющий плавать, бешено молотит перед собой руками. Остальные плывут ко второй спасательной шлюпке с «Боснии», которая спешит к ним на помощь.

Замманн и Дитмер рывком поднимают барахтающегося человека на палубу лодки. Это маленький, рыжеволосый парнишка. Пожалуй, это бой из кают-компании.

Он сидит, прерывисто дыша. Вода струями сбегает с его головы и одежды.

Ханзель докладывает:

— Господин капитан-лейтенант, это грузовое судно!

Я поворачиваюсь и рассматриваю его в бинокль. Корпус судна, следующего к нам с зюйд-веста, высоко поднят из воды. По-видимому, идёт в порожняке.

— Это хорошо, Ханзель, — говорю я и облегчённо вздыхаю.

Встреча с эсминцем прежде, чем мы закончим с «Боснией», была бы неприятна.

Между тем бой в сопровождении Замманна и Дитмера подошёл к поручням рубки. В своей мокрой одежде он дрожит от холода. Жестом руки приглашаю его подняться наверх.

— Ты работал в кают-компании? — спрашиваю я его.

— Да, сэр.

— Что у вас за груз?

— Сера.

— И куда вы должны были идти?

— В Глазго.

Он говорит на ужасном английском диалекте, характерном для «cockney»[23], обитателей Лондонских трущоб.

Его ничем не удивишь, и ведёт себя совершенно независимо.

— Ты дрожишь от пережитого страха?

Он отрицательно качает головой:

— Нет, я мёрзну, сэр.

— Хочешь глоток коньяку?

Он делает маленький поклон и, по-видимому, в знак своей благодарности доверительно рассказывает:

— Конечно, в воде мы все очень испугались, сэр. Вы не можете этого себе представить. Смотришь вокруг и ничего не видишь, кроме неба и волн. И вдруг появляется такая серая громадина. Она колышется и сопит совершенно как животное. Я думаю, что и при встрече со змеёй из Лох-Несс я не испытал бы такого страха, сэр, какого натерпелся здесь.

Мы приблизились вплотную ко второй шлюпке с «Боснии».

— Где капитан? — кричу я.

В лодке встаёт офицер и показывает на «Боснию»:

— На борту!

Я смотрю на судно. Оно постепенно погружается, как плавающий вулкан. Надстройка пылает в огне и окутана дымом.

— Что он там делает?

— Сжигает бумаги.

Я мысленно представляю себе эту ситуацию. Там, на горящем судне, без спасательных средств, в сотнях миль от своей страны, он стоит в огне и чаде, уничтожает судовые документы, чтобы они не попали в руки врага. Почёт и уважение!

— А вы кто? — спрашиваю я офицера.

Он козыряет:

— Первый помощник капитана «Боснии»!

— Поднимитесь к нам на борт!

Он карабкается на борт лодки, и Дитмер помогает ему. Собственно, он вовсе не выглядит как моряк. Толстый и рыхлый; очевидно, слабый физически. Когда он стоя выпрямляется на палубе, то, повернувшись к рубке, снова подносит руку к козырьку.

Между тем мы передаём боя на вторую спасательную шлюпку «Боснии», а сами направляемся к подошедшему судну. Большой норвежец, высоко сидящий в воде.

Попутно мы обнаруживаем в воде ещё одного потерпевшего. Мы останавливаемся, и Замманн с Дитмером поднимают его на палубу.

Я спускаюсь с рубки и смотрю на выловленного. Он не подаёт признаков жизни. Маленький, худощавый, ещё довольно молодой, но загнанный, как старая кляча. В порах кожи на лице — чёрная угольная пыль. Повидимому, кочегар с «Боснии».

Замманн стянул с него куртку и рубашку, вместе с Дитмером делают искусственное дыхание. Рёбра парня выпирают, как решетчатые прутья клетки.

Рядом со мной на всю эту процедуру смотрит первый помощник с «Боснии». Внезапно он поворачивается ко мне и говорит:

— Немцы, однако, великодушный народ, сэр.

Я смотрю на него, упитанного, ухоженного и, очевидно, довольного проявленной им раболепской хитростью. И, не сдерживаясь, грубо отвечаю:

— Кормили бы вы получше беднягу…

Снова поднимаюсь на мостик. Норвежец совсем близко. На фок-мачте хорошо различим национальный флаг. Чёрный корпус, как скала, круто возвышается над водой.

Мы семафорим: «Примите, пожалуйста, людей с английского судна». С борта отвечают «Ясно» и спускают на воду спасательную шлюпку.

Когда она подходит к нам, первым передают маленького кочегара. Он всё ещё без сознания. Затем в спасательную шлюпку переходит первый помощник. Он приветствует нас ещё раз.

Я говорю со старшим норвежской спасательной лодки и объясняю ему ситуацию. Показываю на шлюпки с людьми с «Боснии»…

Как раз в этот момент с борта «Боснии» в воду прыгает человек. Это, должно быть, капитан. По-видимому, он покончил со своими бумагами.

— Его тоже нужно спасти, — говорю я.

Норвежец кивает, и шлюпка отходит.

Затем мы ждём, пока не закончится спасательная операция. Это продолжается довольно долго.

Наши наблюдатели непрерывно следят за горизонтом. Ситуация напряжённая, поскольку «Босния» подала сигнал «SOS», а облако дыма над ней видно на сотни миль вокруг.

Наконец норвежец салютует флагом и поворачивает на зюйд. Чтобы побыстрее завершить дело, мы должны пожертвовать торпедой.

Перед выстрелом на палубе собирается почти весь экипаж. Это наш первый боевой выстрел торпедой в этой войне, и каждый хочет наблюдать её действие. Все мы видели картины прошлой войны — как после попадания торпедой пароход сначала

погружается носом, затем встаёт на дыбы, и как затем, высоко задрав корму, скользит вниз, на грунт.

Но здесь всё совершенно иначе. Лишено патетики, по-деловому и, вероятно, именно потому ещё более страшно. Глухой удар… Столб воды от взрыва вздымается на высоту мачт. Затем столб обрушивается в воду, судно разламывается посередине на две части, которые, как огромные скалы, в считанные секунды исчезают в глубине. Качающиеся на волнах куски древесины, ящики, пустые шлюпки — это всё, что остаётся от судна.

Полным ходом мы уходим на норд. Следующее судно мы встречаем только через два дня. Снова англичанин. «Гартавон» — значится большими белыми буквами на его корпусе. Грузовое судно, которое я оцениваю в три тысячи тонн.

Мы всплываем за его кормой и даём предупредительный выстрел.

Судно не останавливается. Радирует о помощи.

Тогда следует второй выстрел прямо над ним.

Теперь он останавливается, и радиопередатчик умолкает. Команда спускает спасательные шлюпки. Удивительно, с какой ловкостью они это делают. Ни замешательства, ни ошибочных действий. Дело ладится, как при тренировке.

«Хорошая подготовка экипажа», — признаю я невольно.

Как только шлюпки спускаются на воду, начинается посадка команды. Затем шлюпки удаляются от судна. Вёсла движутся согласованно, гребки короткие и быстрые. Через некоторое время они ставят паруса. Тоже чётко, согласованно и быстро.

Я перевожу бинокль на покинутое судно. Меня пронизывает ужас… «Гартавон», оставшийся без экипажа, дал ход и разворачивается на лодку!

Вот оно что: при оставлении судна они запустили двигатель и переложили руль на нас…

— Обе машины самый полный вперёд! — кричу я вниз.

Мучительно долгие секунды… «Гартавон» подходит всё ближе. Тут от бешеного вращения винтов за кормой лодки вскипает вода, и мы буквально пулей вылетаем из-под его форштевня. Пароход проходит так близко, что его носовой бурун обрушивается на корму лодки…

Холодная ярость охватывает меня.

Я приказываю догнать спасательные лодки с англичанина. Они следуют под парусами и вёслами одновременно. Очевидно, пытаются уйти от нас.

«Не забывай, что это — потерпевшие кораблекрушение», — вдалбливаю я самому себе, пытаясь успокоить взбешённое сознание.

Недалеко от шлюпки с капитаном «Гартавона» мы замедляем ход и останавливаемся. Расстояние около десяти метров. Я склоняюсь через поручень:

— Кто капитан?

На корме шлюпки встаёт стройный белокурый моряк. Капитан «Гартавона», это сразу видно, такой он ухоженный, джентльмен с головы до ног. Рядом с ним на вёсельной банке — старший механик. Как он ухмыляется! Издевательский оскал белых зубов сквозь густую бороду. Конечно, это именно он запустил судно на нас! И лицемерный капитан знал об этом!

— Остались ли ещё люди на борту? — кричу я.

Капитан, сложив руки рупором:

— Нет, сэр.

— Так как вы совершили воинственный акт, я не буду радировать о вас, — кричу я, — но я пошлю к вам нейтральное судно, если я его встречу.

Капитан даёт знак, что он понял. И затем, после короткой паузы, спрашивает:

— Могу я теперь продолжить путь?

— Да, уходите! — заканчиваю я переговоры.

Он приветствует ещё раз. Я отвечаю.

Мы вежливы и внимательны друг к другу, поистине благородные противники, как из школьной книги для чтения. Но за этой вежливостью прячется взаимная ненависть двух народов, которые сошлись в последнем, решающем поединке, решая вопрос, быть или не быть им в этом мире…

Мы возвращаемся назад, к «Гартавону». Он продолжает описывать громадную циркуляцию, как ослепшая овца.

Для экономии торпед мы делаем несколько артиллерийских выстрелов в корпус. Борт раскраивается, и оттуда вырывается облако пара.

«Гартавон» медленно погружается.

Слишком медленно! Ещё выстрел!

Судно заваливается набок, как подстреленный зверь, и переворачивается. На мгновение появляются зелёное днище и киль, обросшие ракушкой и водорослями, и судно исчезает в морской пучине…

Война с каждым днём становится всё более ожесточённой. Англичане вооружают свои торговые суда артиллерией и, кроме того, собирают их в конвои.

Нас уведомляют об этом и дают указание: «Каждое судно во вражеском конвое должно торпедироваться сразу и без предупреждения». И у подводников рождается поговорка: «Кто следует в конвое, тот с ним и гибнет».

Я ещё не имел контакта ни с одним из конвоев. К сожалению.

Но вот однажды зимним вечером мы видим на горизонте облако дыма. Затем мачты большого судна. Вот и ещё одно. И, наконец, вырастает целый лес мачт! Мы насчитываем двенадцать пароходов в сопровождении пяти эсминцев.

Мы погружаемся… Противолодочный манёвр вынуждает большие суда периодически изменять курс. Юркие, быстрые эсминцы мечутся вокруг них на зигзаге.

Мы следуем встречными курсами. Снова и снова я командую об изменении курса и хода. И снова и снова осторожно, как антенны улитки, поднимается над волной и опускается в зелёную воду труба перископа. Это нелегко — отслеживать манёвр противника. Порядочная волна. Серая мгла плотно нависла над водой. Ветер — норд-вест, точно нам навстречу. Кроме того, постепенно уменьшается освещённость.

Когда, наконец, наступает вечер, небо и море сливаются в неразличимую серую пелену. По правилам настоящей охоты в такой мгле стрелять уже нельзя. Это было бы нерасчётливо. Но в нашей охоте действуют другие правила.

Я удерживаю всё «стадо» в поле зрения. И одновременно выбираю жертву. Это широкий танкер, третий в ряду. Он больше по размерам и тяжелее, чем другие суда, а кроме того, танкер особенно ценен. Мне памятны слова Джеллико[24], что «союзники однажды приплыли к победе на волне нефти». Но на этот раз «волна» не достигнет морского берега…

Мы сближаемся настолько, что я вынужден снизить ход. Под водой совершенно отчётливо слышен тяжёлый, ритмичный шум работы машин танкера. В поле зрения перископа вырастает его носовая часть. Огромная чёрная стена поднимается перед глазами и заполняет собой всё видимое пространство.

— Аппарат, пли! — командую я.

Сила отдачи сотрясает корпус лодки. Внизу, в центральном посту, Шпар монотонным голосом отсчитывает «… пятнадцать…»

Уже пятнадцать секунд, и никакого взрыва! Это невозможно! Неужели промах? На таком коротком расстоянии?!

Ах, какая нелепая ошибка! Смешно, но я забыл переключить приближение в окуляре перископа… В этот момент глухой удар… взрыв! Ура! Попадание!

Осторожно поднимаем перископ. Яркий, слепящий свет! Из корпуса танкера вверх поднимается громадный столб огня. На глаз его высота метров сто пятьдесят.

В нашем направлении спешат два эсминца.

— Внимание, эсминцы! — реву я в лодку.

И уже взрываются первые глубинные бомбы. Лодку сотрясает

от жестоких ударов по корпусу…

Эсминцы проходят мимо. Томительная пауза… И затем снова, во второй раз, ещё ближе, ещё резче звуки разрывов серий глубинных бомб. Такое впечатление, что лодку схватил в свои лапы великан и встряхивает её, как погремушку.

Снова затишье. И снова грохочущий шум винтов эсминца, рвущий нервы. Третья серия глубинных бомб… На этот раз взрывы ложатся совсем рядом. Страшные удары по корпусу. Лодка подпрыгивает. Звон разбитых плафонов, хлопки лопающихся лампочек. Лодка погружается в полумрак. Прыгают стрелки глубиномеров, и вдребезги разлетаются их стёкла…

И среди этой какофонии вдруг совершенно спокойный голос Весселя:

— Осмотреться в отсеках. Доложить в центральный.

Следуют доклады: «Кормовой. Разбиты три плафона освещения…», «Носовой. Разбито несколько плафонов, вышли из строя два манометра…», «Радиорубка. Вышло из строя освещение. Включено аварийное …».

И тишина… Её нарушает голос Весселя:

— Вот, что натворили, свиньи…

Мы оторвались. Взрывы последующих бомб уже далеко от нас.

Внезапно издалека доносится треск… грохот… Поднимаем перископ. Наверху теперь ночь. И на фоне тёмного неба высится огромный, по всей длине танкера, столб огня высотой свыше ста метров. Это взорвался и выплеснул всё своё содержимое танкер…

На секунду я мысленно представляю себе людей в этом огненном аду. И меня охватывает дрожь…

В "мышеловке"

Мы получаем приказ о предотвращении высадки английского десанта в районе

Нарвика, и крейсируем здесь уже несколько дней. Мне дана команда обследовать один из фьордов.

В предвечерний час апрельского дня мы входим в него. Высокие, заснеженные сопки ярко отражают солнечный свет.

Мы следуем внутрь фьорда медленно и осторожно. Справа и слева над водой нависают скалы, высящиеся на сотни метров. У подножья скал вдоль побережья тянется узкая шоссейная дорога. Вода за бортом темна и спокойна.

Это неприятная экскурсия. В каждый следующий момент из-за сопок может появиться вражеский самолёт, и тогда горе нам! В прозрачной спокойной воде и в стесненной узкости фьорда уйти от него будет просто невозможно.

В каждой бухте по сторонам фьорда может укрываться противник, который не может не заметить нас. Каждый дом, каждая живая душа таят в себе опасность. Отношение Норвегии к войне пока остаётся неясным…

Мы стоим наверху на мостике и тщательно ведём наблюдение в бинокли за небом, водой и побережьем. Вот посёлок. Несколько маленьких, коричневых домиков, примыкающих к подножию скалы и расположенных далеко один от другого.

Мы погружаемся под перископ.

С наступлением темноты мы снова всплываем в надводное положение. В окружении заснеженных сопок всё освещено бледным светом. Хорошо видны контуры всех предметов, только краски как бы выцвели.

Мы медленно огибаем оконечность высокой скалы… и перед нами, на расстоянии едва лишь двух тысяч метров, военный корабль на якоре… Английский крейсер, от семи до восьми тысяч тонн.

Его силуэт отчётливо выделяется на фоне заснеженной сопки. Я сра-

зу привожу лодку на курс атаки. Мы уже заканчиваем свой боевой поход, и у нас осталась только одна торпеда в носовом торпедном аппарате. Только один выстрел! И он должен состояться!

— Торпедный аппарат, товсь!.. Торпедный аппарат, пли!

Лодка ещё вибрирует от выстрела, а мы уже поворачиваем на выход из фьорда. Мы можем идти только малыми ходами, так как иначе нас будут выдавать носовой бурун и шум дизелей. А

противник так близко… Погрузиться нельзя: здесь, в глубине фьорда, очень мелко.

Пока лодка поворачивает, я веду наблюдение за следом торпеды… Проклятье! Она идёт по дуге, проходит мимо крейсера и следует к скалам!

Внезапно слабый хруст под нашим килем. Мы сели на грунт. Сели прочно! Непосредственно под орудиями противника!

В тот же момент торпеда попадает в скалу и взрывается. Страшный грохот, усиленный ущельем фьорда. Огромный столб воды вздымается вверх.

На доли секунды в жилах стынет кровь: ситуация безнадёжна, все кончено…

Но сознание возвращается. Остается одно: действовать, действовать быстро и решительно!

— Стоп обе машины! Обе машины, самый полный назад! — кричу я в исступлении.

Ревут двигатели, вместе с чадом выхлопных газов сыплются искры. Но лодка не сдвигается с места.

Короткий взгляд на крейсер. Но там нас не видят! Корабль всё ещё затемнён и производит впечатление спящего.

Я хватаю за рукав первого вахтенного офицера:

— Выводите свободных от вахты людей на корму. По вашей команде они должны перемещаться от рубки в корму, и обратно. Нужно раскачивать лодку!

Другое приказание — Фарендорффу, второму вахтенному офицеру:

— В лодку! Готовьте секретные документы к уничтожению, лодку к подрыву!

Снова короткий взгляд в корму, на англичанина. Отказываюсь верить своим глазам: он всё ещё спит! Хотел бы я иметь такой сон, особенно на пенсии!

Новые команды:

— Носовые торпедные аппараты осушить! Продуть носовые цистерны!

Нужно облегчить носовую часть лодки…

Лодка напоминает растревоженный муравейник. Снизу выбегают люди, вызванные на кормовую палубу, по отсекам носятся специалисты по системе всплытия и погружения.

Короткая трель из дудки первого вахтенного офицера, едва слышная из-за шума машин — и топот многих ног по палубе: матросы несутся в корму. Снова трель, и снова топот ног: теперь все возвращаются назад, к рубке.

Всё это продолжается несколько минут. Лодка шевелится, но не сходит с мели. Нужно попытаться развернуть её.

— Стоп правая машина! Лево на борт! Правая машина малый вперёд! — командую я.

Лодка медленно, мучительно медленно поворачивает, но остаётся на месте.

Наблюдатель правого борта шепчет мне:

— Господин капитан-лейтенант, там тень…

Я оборачиваюсь:

— Где?

Он показывает рукой. По фьорду перед входом в нашу бухту медленно идёт корабль. Безмолвный, без огней, едва видимый контур. Серый призрак в полутьме северной ночи.

Тут на его борту возникают вспышки света. Сигналы морзянки прожектором. Он запрашивает у нас опознавательный.

— Господин капитан-лейтенант, что им ответить? — спрашивает сигнальщик.

Он говорит приглушённо, хотя шум наших машин лишает это смысла.

Теперь мы в непосредственной близости двух вражеских кораблей: за кормой крейсер, перед нами — неизвестный корабль.

Сигнальный прожектор уже в руках у Ханзеля.

— Оставьте это, — говорю я поспешно. — Может быть, этот парень примет нас за затемнённый светящий знак.

Корабль поморгал нам ещё морзянкой, но мы продолжаем молчать. Наконец, он оставляет свои напрасные попытки.

— Господин капитан-лейтенант, — обращается ко мне Хэнзель, — там рядом с берегом стоит рыбацкий катер…

Он умолкает. Но мы понимаем в этой чрезвычайной ситуации друг друга с полуслова. Если всё кончится неудачей, то мы могли бы на этом катере дойти до Нарвика, подумал я, и отдаю вниз приказание:

— Пулемёты, пистолеты и ручные гранаты приготовить!

Взгляд на крейсер: продолжает спать.

Наблюдатель левого борта:

— Господин капитан-лейтенант, это рыболовное судно.

Я снова смотрю на силуэт. Верно, он прав. Это вооружённое рыболовное судно. Оно остановилось как раз перед входом в нашу бухту.

Итак, мы в положении мыши в мышеловке. Беспомощные. Без единой торпеды. Лакомая добыча сразу для двух вражеских кораблей, каждый из которых гораздо сильнее нас, пока мы над водой.

Голос штурмана:

— Лодка пошла назад!

В тот же момент мы замечаем это все. Скребущий звук, лодка скользит назад, нос опускается и — мы на ровном киле…

Свободны! Слава Богу, мы свободны!

— Всем вниз! — командую я. — За исключением верхней вахты! Восстановить дифферентовку!

Мы следуем к тёмному силуэту судна, которое блокирует выход из бухты. Непосредственно перед ним мы погружаемся. Когда он вникает в суть происходящего, уже поздно: мы уходим полным ходом. Позади нас грохочут бесполезные теперь взрывы глубинных бомб.

Когда я спускаюсь из боевой рубки в центральный, то слышу чей-то голос:

— Поистине, это была партия игры не на жизнь, а на смерть.

И я думаю: «Поистине, если бы мне время позволяло, я бы тоже испугался».

Шестьдесят шесть тысяч тонн

Два часа ночи. Я лежу на своей койке в беспокойном полусне.

Из радиорубки напротив доносятся сигналы морзянки. От моей каюты радиорубка отделена только зелёной занавеской.

Радист Штайнхаген докладывает:

— Господин капитан-лейтенант, радиограмма на все лодки: «В центральной части Северного моря немецкий самолёт совершил вынужденную посадку. Координаты…»

Я вскакиваю с койки, хватаю фуражку и вхожу в центральный. Бросаю взгляд на карту: указанное место находится впереди по курсу рядом с нашим маршрутом.

Я поднимаюсь на мостик. Верхняя вахта мёрзнет на холодном, пронизывающем ветру. Я даю короткое указание: «Быть внимательными. Искать пилотов самолёта, совершившего вынужденную посадку».

Затем снова спускаюсь в центральный, прокладываю новый курс и приказываю разбудить меня в семь утра — конечно, если что-либо не случится раньше.

Утром в семь часов Ротт включает свет в моей выгородке и сообщает:

— Семь часов, господин капитан-лейтенант.

Когда я поднимаюсь на мостик, над водой узкими полосами висит утренний туман. Ничего не обнаружено, ничего нового.

Досадно. Мы уже проходим указанную позицию. В тумане экипаж самолёта можно было и не заметить, и тогда они рискуют остаться без помощи.

Поглощённый этими мыслями, я спускаюсь в кают-компанию. Фарендорфф уже сидит за столом и завтракает.

Утреннее приветствие. Мы сидим напротив друг друга, вплотную со шкафом и койками.

Фарендорфф о чём-то рассказывает. Я слышу его голос, не вникая в содержание. Мои мысли вертятся вокруг лётчиков, которые где-то плавают и ждут помощи. Мы должны спасти их… мы должны…

Внезапно очевидная мысль озаряет сознание. Я вскакиваю и устремляюсь в центральный. Снова склоняюсь над картой: всё верно! И следует команда:

— На мостик: лево на борт! Курс двести сорок пять градусов!

Я возвращаюсь к столу. Теперь Фарендорфф молчит. Он лишь посматривает на меня со стороны. Затем встаёт и отправляется на мостик. Начинается его вахта. Я жую свой хлеб в одиночестве.

Через короткое время доклад с мостика:

— Командиру: впереди по курсу сигнальная ракета.

Я поднимаюсь на мостик. Фарендорфф показывает направление в тумане:

— Вон там… Белая сигнальная ракета.

Мы меняем курс и направляемся в указанном направлении. В тумане появляется неясное тёмное пятно; его очертания постепенно приобретают резкость. Скоро становится ясным, что это резиновая надувная шлюпка с людьми на борту. В ней три человека. Это лётчики.

Несколько человек из экипажа поднимаются наверх и выходят на носовую палубу, чтобы принять лётчиков. Люди радостно возбуждены, как никогда ещё при наших случайных встречах с соотечественниками в море.

— Ну что, молодёжь, — обращается к лётчикам боцман густым басом, — рады встрече?

Ему отвечает радостный рёв. На лодке двое отчаянно жестикулируют, срывают с себя лётные капюшоны и крутят ими в воздухе. Третий продолжает сидеть. Но все трое непрерывно кричат. От радости они даже не реагируют на поданные им бросательные.

Подходим вплотную. Дюжина протянутых рук помогает им подняться на борт лодки. Первым переходит раненый.

— Где ваша машина? — спрашиваю я.

— Машины больше нет, — отвечает один из лётчиков, фельдфебель, показывая пальцем вниз.

— Кого-то с вами нет?

— Да, командира.

— Где он?

— Погиб.

Оставаться здесь больше нельзя. Сигнальная ракета, которую выпустили лётчики, могла привлечь ещё чьё-либо внимание.

— Обе машины полный вперёд! — командую я.

Раненого лётчика осторожно спускают в рубочный люк. Он совсем юный паренёк, выглядит очень бледным и измученным.

Оставшиеся двое представляются. Фельдфебель Кларе и обер-фельдфебель Липперт. У обоих чисто саксонское наречие. Я отсылаю их вниз в лодку и через несколько минут следую за ними сам.

Внизу царит дикий кавардак. Сначала раненого укладывают на койке инженер-механика и впятером освобождают от верхней одежды. Затем обоих здоровых усаживают на койку, одного возле другого, и плотно окружают их кольцом, беспрестанно задавая вопросы, наперебой предлагая чай, шоколад, сигареты…

Я не верю своим ушам, когда слышу, как Вальц, наш кок,

говорит: «Приготовить вам глазунью, господин обер-фельдфебель?» Обычно он сидит на своих яйцах, как клушка на гнезде, и посылает подальше каждого, кто решится выразить просьбу приготовить яичницу.

Когда я подхожу к ним, раненый делает попытку встать. Жестом руки останавливаю его. Затем осматриваю его раны. У него огнестрельные ранения в плечо и икру ноги. Раны чистые, без осложнений.

Чтобы отвлечь его, пока я обрабатываю и перевязываю раны, прошу его рассказать их историю.

— Над морем, — начал он, — мы встретили английский истребитель с одним из этих бристольских ублюдков. Англичанин, атакуя, обстрелял нас из пулемёта и пушки. Мы открыли ответный огонь. Тут бортмеханик кричит: «Пробит радиатор! Вынужденная посадка!» Англичанин развернулся и снова стал сближаться. Наш командир, лейтенант Вайнлиг, полез в кабину переднего стрелка, к пулемёту. И тут ветровое стекло пилота стало кроваво-красным. «Мне ничего не видно!» — закричал пилот. И мы пошли вниз. Мы трое уцелели, а командира убило. Пуля попала ему в голову, и кровь через разбитый фонарь забрызгала ветровое стекло пилота. Когда мы его вытаскивали, англичанин беспрерывно кружил над нами, как стервятник. Стоило одному из нас высунуться, как он открывал огонь. Тут я и получил свои царапины. Когда эта собака, наконец, прекратила огонь, мы спустили надувную лодку и тут же начали грести. У нас был карманный компас, и мы стали грести на восток. Англичанин на некоторое время исчез, а потом они появились уже вдвоём. Они больше не стреляли, но и не делали никаких попыток нам помочь. Мы гребли весь день и всю ночь, и вторую ночь, сорок часов подряд. При этом постоянно сменяли друг друга. Час гребёшь, час правишь, час спишь. Сна, правда, было совсем немного. Время от времени стреляли из ракетницы… Потом увидели подводную лодку. Сначала подумали, что это англичане. Но когда услышали немецкую речь, горло перехватило от волнения. Мы просто сошли с ума от радости…

Когда он закончил свой рассказ, с перевязкой ран было уже покончено.

— Ну, хорошо, — говорю я. — Теперь поешьте, а затем выспитесь хорошенько.

Накормленные, они исчезают в своих койках.

Я сообщаю радиограммой: «Лётчики спасены. Поход продолжается».

Спасённые лётчики.

Спасенные летчики

Я вижу вновь своих гостей на борту только следующим утром. Оба здоровых лётчика стоят внизу под рубочным люком и с любопытством смотрят вверх на видный отсюда крохотный лоскут неба. В этой позе они выглядят, как птицы в клетке. Я даю указание вахте на мостике время от времени выпускать их наверх, чтобы они могли глотнуть свежего воздуха.

Мы надеялись, что спасение лётчиков будет хорошим предзнаменованием. Но создаётся впечатление, что на самом деле мы взяли на борт неудачников. С тех пор мы не видим ни одной цели. При этом стоит идеальная погода для атаки. Солнце ярко светит с безоблачного неба, море дышит лёгким волнением и остаётся светлым до глубокой ночи. Но кроме этого мы больше ничего не видим, и линия горизонта остаётся чистой.

Безрезультатное крейсирование продолжается уже одиннадцать суток, и это в районе, который по судоходству считается одним из самых оживлённых. Нервы напряжены до предела. Вахта на мостике стоит неподвижно, перед глазами бинокли. Но виден только пустой горизонт. Ни облачка дыма, ни мачт, ни паруса. Ничего…

Постепенно у всех наступает состояние, которое можно сравнить с полярной болезнью. При малейшем пустяке, самой

незначительной мелочи вспыхивает раздражение, возникают перепалки. Задержка с прибытием на мостик очередной смены всего на пару минут воспринимается как нанесение серьёзной обиды. И когда я спускаюсь с мостика вниз, моё обычное наставление верхней вахте «Будьте внимательны!» буквально застревает в горле.

На одиннадцатый день перед погружением я поднимаю перископ в боевой рубке и кричу вниз:

— Густав, твой перископ опять засижен мухами!

— Не может быть, господин капитан-лейтенант, я только что тщательно протёр стекла...

И в это мгновение я различаю первый пароход… Это как удар током!

— Тревога! — кричу я.

Голос срывается от волнения. Мы быстро сближаемся. Это одиночный танкер водоизмещением около шести тысяч тонн. Часто изменяет курс: идёт зигзагом.

Мы пропускаем его и всплываем сразу за его кормой.

— Приготовиться к артиллерийскому бою!

Быстро осматриваю горизонт и вздрагиваю: на весте, на горизонте растёт лес мачт!

— Конвой! Погружаться!

Мы были на волосок от гибели. Очевидно, что танкер-одиночка был послан вперёд в качестве приманки.

Теперь уже не до танкера, теперь главная цель — конвой!

В течение трёх часов мы маневрируем ему наперерез, пытаясь выйти навстречу. Но всё безнадёжно. Под водой наша скорость слишком мала. Конвой постепенно уходит…

Когда мачты уже исчезают на горизонте, мы всплываем.

Однако! Навстречу нам, высоко вздымая носовой бурун, идёт паровое рыболовное судно.

Мы снова погружаемся и через некоторое время всплываем под перископ.

О, Боже! На этот раз из разрыва облаков прямо на нас вываливается «сандерлэнд»! Мы срочно ныряем, ища защиту на глубине. К счастью, он не обнаруживает нас.

В бессильной ярости я ругаюсь, и слова застревают у меня в горле. Конвой уходит в прошлое…

В наступивших сумерках я обнаруживаю пароход, который медленно и спокойно приближается к нам. Очевидно, отстал от конвоя. Я оцениваю его водоизмещение в шесть тысяч тонн.

На его палубе загружены огромные упаковочные клети, а на баке я отчётливо вижу орудийные стволы. Насчитываю восемь стволов!

Мы оказываемся в удобной позиции и стреляем торпедой.

Попадание прямо в мидель! В перископ видно, как команда спешно высаживается в спасательные шлюпки. Вскоре пароход медленно переворачивается и исчезает в глубине.

Когда мы уходим, то ещё долго видим клети, колыхающиеся на поверхности моря. В промежутках между планками просматривается их содержимое: части самолётов, крылья.

— Напоили водичкой стаю канадских уток, — язвительно замечает Майер.

Нам кажется, что теперь неудача перестанет преследовать нас. Но нет: последующие семь дней мы снова не видим ничего, кроме неба и воды.

Полярная болезнь на борту принимает форму эпидемии. Мы становимся просто невыносимыми друг для друга. Тошнотворное чувство может вызвать уже сам вид того, как кто-то чистит зубы или ест…

И вот, наконец, на седьмой день доклад с мостика:

— На горизонте пароход!

И снова целый конвой! Около тридцати судов, которые вытянулись в тонкую нить вдоль горизонта.

Так как дистанция велика, я позволяю им подойти. Затем мы подвсплываем и описываем дугу, заходя в бортовой сектор. Пока мы занимаем благоприятную позицию, настаёт вечер.

На фоне светлого вечернего неба прекрасно видны тёмные силуэты судов. Я выбираю три самых больших: танкер в двенадцать тысяч тонн, танкер в пять тысяч шестьсот тонн и грузовое судно тоже около семи тысяч тонн.

Наблюдаю в перископ. Первый вахтенный офицер внизу подаёт команды на пуск торпед: первый выстрел — нормально, второй выстрел — нормально, третий!.. третьего выстрела нет.

Внизу глухой говор. Я не прислушиваюсь к нему. Всё моё внимание — выпущенным торпедам. Наконец слышно, как третья торпеда вышла. Но задержка в пуске чревата промахом.

Ура! Есть первое попадание. Это «Кадиллак», танкер. Двенадцатитысячник. Глухой удар взрыва, столб воды, и вслед за этим судно окутывает жёлто-коричневый дым.

Второе попадание! Я не верю своим глазам. Это пароход, в который мы вовсе и не целились: «Грация», водоизмещением семь тысяч тонн.

Вслед за ним подрывается грузовой семитысячник.

Все три торпеды сработали хорошо. Никто не избежит гибели.

Мы отходим, и позади нас уже гремят взрывы глубинных бомб. Я вызываю унтер-офицера, торпедного механика.

— Что случилось, Тевес? — спрашиваю я его. — Почему выстрел запоздал?

Он стоит передо мной, совершенно потерянный:

— Разрешите доложить, господин капитан-лейтенант?.. Я поскользнулся и потому промахнулся рукой и схватил боевую рукоятку аппарата, из которого уже выпустили торпеду.

Я невольно рассмеялся:

— Ну, не совсем же промахнулся. Скорее попал. Твой промах добавил нам около полутора тысяч тонн!

Он смущённо молчит. Затем задаёт вопрос:

— И сколько всего, господин капитан-лейтенант?

— Двадцать четыре тысячи, — отвечаю я.

Мой ответ разносится по лодке молниеносно. Лица светлеют, как небо после долгой дождливой погоды.

Теперь, наконец, судьба становится к нам благосклонной. Через двое суток ночью мы встречаем затемнённый пароход с грузом пшеницы. Две тысячи восемьсот тонн.

Чтобы экономить торпеды, мы предоставляем экипажу судна возможность перейти в спасательные шлюпки, а затем расстреливаем его из орудия…

Мы находимся в отдалённом районе и, выполняя задание по обеспечению других лодок, снабжаем одну из них хлебом, копчёными колбасами и ромом.

Через сутки после этого судьба приводит нас к встрече с двумя судами.

Утром, чуть свет, четырёхтысячник с грузом древесины, который мы топим несколькими артиллерийскими выстрелами под ватерлинию. И в предвечерний час — голландский танкер с дизельным топливом. На его мостике защитный барьер из мешков с песком. Мы даём серию выстрелов из нашего орудия калибром восемьдесят восемь миллиметров прямо по корпусу. Но вместо того, чтобы затонуть, он всё выше поднимается над водой. Вытекающее через разрывы корпуса топливо только облегчает его. Тогда стреляем по машинному отделению. Постепенно он оседает и тонет.

Шлюпки со спасённым экипажем находятся уже на порядочном удалении, когда мы обнаруживаем в воде ещё трёх человек. Оказывается, это третий и четвёртый механики и кочегар. Они были внизу, в машинном отделении, и капитан не стал их ждать. Он оставил их на очевидную гибель...

Я догоняю спасательные шлюпки и передаю им этих троих. При этом я произношу для их капитана короткую внушительную речь, которая начинается со слов: «Ты, собачье дерьмо…» — ну и далее в том же духе.

В этом походе на нашем счету теперь почти сорок тысяч тонн, а если точно, то тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять.

Есть основание быть довольными собой…

Однако вскоре мы получаем по радио сообщение: «Германская подводная лодка… возвратилась из боевого похода, имея на своём счету сорок пять тысяч тонн». Речь идёт о лодке, командир которой обучался у нас на борту.

У моих людей вытягиваются лица, и Штайнхаген, радист, горько резюмирует общее мнение:

— Досадно, когда молодёжь растёт выше учителей.

Его переживания кажутся мне несколько детскими. Но всё-таки я рад тому, что по настроению экипажа видно желание действовать.

Приглашаю к себе на совещание первого и второго вахтенных офицеров. Результаты нашего обсуждения ошеломляющие: у нас осталось только шесть артиллерийских снарядов и несколько торпед. Техническое состояние одной из торпед не совсем ясное.

Следующей ночью при выстреле торпедой мы промахнулись. Пароход с затемнёнными огнями проходил мимо на большом расстоянии. Он был быстроходным и, чтобы не упустить его, пришлось стрелять в неблагоприятных условиях. Когда торпеда вышла, начался отсчёт времени: «Пятьдесят секунд…». Каждая следующая секунда отдаётся внутренней болью, потому что попадание становится всё менее вероятным. «…Минута двадцать секунд…»

— Моя дорогая торпеда... — говорит Фарендорфф и стискивает зубы.

Мы пытаемся снова атаковать пароход, но темнота уже поглощает его.

Меня будят на рассвете тех же суток. Первый вахтенный офицер докладывает об обнаружении парохода «Эмпайр Тоукен» водоизмещением семь тысяч тонн.

Крупная зыбь. Лодка раскачивается очень сильно.

— Мы должны потопить его артиллерией! — решаю я.

— Попадем ли на такой волне? — сомневается первый вахтенный офицер.

Я пожимаю плечами.

— Во всяком случае, торпеды надо экономить.

Будят боцмана, наводчика орудия. Сначала он отказывается поверить:

— При такой качке? Не надо меня разыгрывать!

Посыльному приходится повторить приказание. Он появляется наверху. Я даю ему указания:

— Первый выстрел — по корме, где расположены орудия, второй — по мостику, чтоб не радировал!

— Есть, господин капитан-лейтенант, — отвечает он, щёлкнув каблуками.

Но по его лицу видно, что он хотел бы сказать, что это очень трудно выполнимо, и что надо было экономить и снаряды.

Я стою на мостике и наблюдаю за стрельбой. Первый снаряд попадает точно между пушками. Второй — в носовую часть судна, третий — чуть ближе к мостику. Четвёртый мимо, пятый — снова промах… Шестой снаряд, наконец, пробивает мостик и попадает в виндзейль[25].

Фантастическая картина: воздушной волной взрыва виндзейль поднимается в воздух, как огромное белое привидение, и обрушивается на мачту впереди него.

Несмотря на последнее попадание, радист продолжает одержимо работать, выдалбливая «SOS».

Люди спешно садятся в шлюпки и отходят от судна. На нём остаётся только радист. Придётся пожертвовать торпеду, если мы не хотим, чтобы он натравил на нас вражескую свору.

Торпеда попадает как раз посередине «Empire Toucan». Судно разламывается и начинает погружаться. А радист всё продолжает работать!

Внезапно мы видим, как на покосившейся палубе появляется человек. В его руке вспыхивает фальшфейер; он бежит от разлома корпуса судна, погружающегося в воду, и размахивает фальшфейером над головой. Только когда вода поглощает всё, красный огонь гаснет…

Мы направляемся к тому месту, где он исчез, но не находим его.

Затем на норде появляются серые тени силуэтов. Возможно, это эсминцы. У нас только одна исправная торпеда, поэтому надо быстро уходить.

Через несколько минут Штайнхаген приносит мне радиограмму с «Empire Toucan»: «Торпедирован подводной лодкой, судно быстро погружается кормой. SOS». И затем продолжительное тире. Последний сигнал радиста…

Следующее судно мы встречаем спустя два дня. Греческое грузовое судно водоизмещением четыре тысячи тонн. Мы топим его выстрелом нашей последней исправной торпеды.

Штайнхаген просовывает голову в мою каюту:

— Господин капитан-лейтенант, теперь достаточно? — спрашивает он, затаив дыхание.

Я сижу и считаю.

— Нет, — говорю я, — у нас пятьдесят одна тысяча тонн, а

другая лодка имеет на три тысячи больше.

По лодке разносится волна разочарования.

Поскольку весь боезапас израсходован, и на борту остаётся только неисправная торпеда, предстоит обратный переход домой.

Вызываю унтер-офицера, торпедного механика:

— Попробуйте ещё раз сделать всё, что сможете, чтобы торпеду можно было использовать.

Он уходит. На следующее утро докладывает о готовности торпеды к выстрелу…

Спокойное, ясное летнее утро. Мы идём вблизи побережья. Море совершенно спокойно.

Тут вахта наблюдения докладывает:

— Впереди по правому борту пароход!

Огромный корпус с двумя дымовыми трубами. Идёт на нас со стороны солнца, маневрируя в дикой пляске зигзага. Против солнечного света его окраска не видна, но по силуэту я определяю, что мы имеем дело с грузовым пароходом класса «Ормонд». Это значит, что его водоизмещение составляет более пятнадцати тысяч тонн.

Мы находимся в позиции по борту судна на слишком большой дистанции, но нужно стрелять, иначе судно начнёт удаляться… И я обращаюсь к своим помощникам:

— Друзья, — волнение перехватывает горло, — зажмите большой палец! Удастся ли нам это сделать при таких неблагоприятных условиях?

Затем подаю команду:

— Пли!

Ожидание… Мучительно медленно отсчитываются секунды. Судно очень далеко.

Я думаю, слишком далеко…

И тут вижу в перископ, что как раз посередине судна высоко, на уровень мачт, поднимается столб воды. Сразу после этого грохот взрыва достигает нашей лодки.

Огромный пароход медленно заваливается на правый борт.

Со всей поспешностью за борт спускаются спасательные шлюпки. Много шлюпок. В то же время в воде плавают сотни голов. Но им невозможно оказать помощь. Побережье слишком близко, и судно ещё на плаву. На баке отчётливо видны стволы орудий.

Убираю перископ, и мы отходим под водой. Когда через несколько минут я снова смотрю в перископ, то вижу лишь спасательные шлюпки да спокойную гладь моря.

Спускаюсь из боевой рубки и иду в свою выгородку, чтобы сделать очередную запись в журнал боевых действий.

У сферической переборки центрального я невольно останавливаюсь. На ней висит плакат, на котором большими буквами:

«66 587 т. Выучить наизусть».

Скапа-Флоу

После обеда мы стоим, разговаривая, в кают-компании нашей плавбазы. Распахивается входная дверь и на пороге появляется капитан цур зее фон Фридебург.

— Внимание, господа! Корветтен-капитан Зобе, капитан-лейтенанты Велльнер и Прин! Прибыть на «Вейхзель»[26] к командующему подводными силами!

Мы вскидываем в приветствии правую руку, и он уходит.

К нам обращается командир флотилии:

— Ну, что вы там натворили? Нажрались пьяными? Или приобрели живность в волосах?

Он смотрит сначала на Велльнера, затем на меня. Велльнер отвечает за обоих:

— Никак нет, ничего подобного, господин капитан!

Через десять минут мы уже садимся в барказ, стоящий у борта плавбазы, и следуем к «Вейхзелю». Гавань по-воскресному тиха. Мы тоже молчим.

Я размышляю над тем, чего от нас хочет командующий подводными силами. Вызов к нему в воскресенье совершенно необычен. Эта мысль беспокоит и остальных.

Когда мы прибываем на «Вейхзель», на Тирпиц-молу как раз выстроен экипаж подводной лодки, вернувшейся из боевого похода. Командующий подводными силами коммодор[27] Дёниц проходит вдоль строя и принимает рапорт…

Мы идем в кают-компанию и ждём.

Тянутся долгие минуты, пока появляется посыльный. Он щёлкает каблуками:

— Господа капитаны! Вам надлежит прибыть к командующему подводными силами во флагманскую кают-компанию!

Нас приглашают по очереди. Сначала идёт Зобе, несколько минут спустя — Велльнер.

Я остаюсь один. Подхожу к окну и смотрю наружу. «Что же он может хотеть от нас?» — размышляю я. Эта мысль уже почти мучительна.

Наконец приглашают и меня.

В светлом помещении флагманской кают-компании я предстаю перед командующим подводными силами. Посередине большой стол, покрытый картами. На заднем плане — командир флотилии и Велльнер.

— Капитан-лейтенант Прин по вашему приказанию прибыл.

— Ещё раз спасибо за ваш успех, Прин.

Командующий подводными силами пожимает мою руку.

— А теперь послушайте. Велльнер, начните с самого начала.

Велльнер подходит к столу и склоняется над картой: «Охрана обычная, как и везде. Особенности, которые я указал в журнале боевых действий, состоят в следующем…» При этом он указывает на карте несколько пунктов. Я следую взглядом за его рукой. Это район Оркнейских островов. В середине карты крупная надпись: «Бухта Скапа-Флоу».

Велльнер продолжает свои пояснения, но я уже не могу следить за ними. Все мои мысли кружатся вокруг этого названия: Скапа-Флоу!

Затем слово берёт Дёниц:

— В мировую войну[28] английские минные заграждения находились вот здесь, — он склоняется к карте и показывает остриём циркуля. — Наверно, они и сейчас расположены там же. Тогда здесь погибла лодка Эмсманна, — остриё циркуля упирается в Хокса-зунд, — а здесь, — циркуль описывает овал, — обычно находится якорная стоянка английского флота. Все семь проходов в бухту заблокированы и хорошо охраняются. И всё же мне кажется, что решительный командир вот здесь, — циркуль скользит по карте, — смог бы пройти. Это будет непросто сделать, так как между островами очень сильное течение. Но всё же я верю, что пройти можно!

Он поднимает голову. Острый, изучающий взгляд исподлобья.

— Как вы считаете, Прин?

Я смотрю на карту. Но прежде, чем я хочу ответить, адмирал продолжает:

— Я не требую от вас сиюминутного ответа. Обдумайте всё спокойно. Берите с собой все документы и взвесьте всё основательно. Я жду вашего решения не позднее полудня вторника.

Он поднимается и смотрит на меня в упор:

— Надеюсь, вы понимаете меня, Прин. Вы полностью свободны в вашем решении. Если придёте к убеждению, что это мероприятие проводить нельзя, сообщите мне.

И с особым ударением:

— На вас не ляжет никакое пятно позора, Прин. Вы навсегда останетесь для нас командиром.

Прощальное рукопожатие. Я забираю с собой карты и расчёты.

В прощальном приветствии мы выбрасываем вперёд-вверх правую руку.

Я отправляюсь на плавбазу «Гамбург». Прячу карты и расчёты

в свой маленький стальной сейф. Затем иду домой.

Во мне появляется огромное напряжение. Можно ли всё это выполнить? Рассудок оценивает и рассчитывает, но воля и желание уже теперь говорят, что нужно решаться. Я целиком поглощён своими размышлениями и на приветствия солдат отвечаю чисто механически.

Дома меня встречают жена с ребёнком. Обед готов, стол накрыт. Но мои мысли продолжают беспрерывно крутиться вокруг одного полюса: Скапа-Флоу.

После обеда я прошу жену отправиться на прогулку одной: у меня много работы. Она кивает и грустно улыбается:

— Ах, очередное предприятие…

Однако больше ни о чём не спрашивает. Она сама дитя солдата.

Когда она уходит, я возвращаюсь на «Гамбург». Достаю карты и расчёты. Затем сажусь к письменному столу… Чудесно, тщательный анализ показывает, что мероприятие выполнимо!

Когда я заканчиваю работу, снаружи уже темно. Я складываю бумаги и отправляюсь с ними в гавань. Город тих и темен, в небе ярко светятся звёзды.

На следующее утро я прибываю к фон Фридебургу на доклад. Он принимает меня сразу.

— Ну, — смотрит он на меня вопросительно, — что скажете, Прин?

— Когда я могу доложить командующему подводными силами, господин капитан?

— Итак, ты пойдёшь?

— Так точно.

Он тяжело опускается в кресло за письменным столом и берётся за телефонную трубку.

— Я, собственно, думаю, — говорит он при этом, — что я на вашем месте тоже побаивался бы только из-за семьи.

Затем он говорит по телефону:

— Так точно, господин адмирал, Прин у меня. В четырнадцать? Есть!

Он встаёт.

— В два часа пополудни быть у командующего подводными силами.

Ровно в два часа дня я вхожу к адмиралу. Он сидит за письменным столом.

— Капитан-лейтенант Прин для доклада прибыл!

Он не ответил, как будто бы пропустил мой доклад мимо ушей. Только смотрит на меня пристально. Затем спрашивает:

— Да или нет?

— Да, господин адмирал.

Тень улыбки. Потом он спрашивает, уже серьёзно и проникновенно:

— Всё ли вы обдумали, Прин? Подумали ли вы о судьбе Эмсманна и Хеннинга?

— Так точно, — отвечаю я.

— Тогда снаряжайте свою лодку. Срок выхода будет объявлен.

Он встаёт, обходит вокруг письменного стола и пожимает мне руку.

Он молчит, но крепкое рукопожатие красноречивее любых слов…

Мы выходим в десять утра восьмого октября. Это снова воскресенье, ясный, прекрасный день поздней осени.

Нас провожают фон Фридебург и адъютант командующего подводными силами. Некоторое время мы стоим на причальной стенке и смотрим на лодку, стоящую на приколе. На борт поднимается экипаж.

Мы ходим вдоль причальной стенки туда и обратно. Обмениваемся парой ничего не значащих фраз. Только при расставании фон Фридебург говорит:

— Итак, Принхен, если всё пойдёт, как надо, то многие тысячи тонн тебе обеспечены! Ни пуха, ни пера!

В приветствии я выбрасываю вперёд-вверх правую руку. Они отвечают…

Затем я спускаюсь по сходне на лодку. Убираются швартовы, всё сильнее гремит выхлоп дизелей, отдаваясь дрожью в корпусе корабля.

Мы медленно выходим наружу, в серо-зелёное море. Курс норд-норд-вест. На Скапа-Флоу…

Оба берега тонут в нежной, серой дымке, постепенно пропадая из вида. И затем остаются лишь только небо и море, зелёное, по-осеннему холодное море, да усталое солнце, простирающее свои блёклые лучи, над морским простором.

Никто на борту не знает цели нашего похода, только я.

Вот мы обнаруживаем дрифтер[29] и ныряем… Потом на горизонте появляются дымовые облака одиночных судов и конвоев, но мы не преследуем их…

Команда посматривает на меня вопросительно и испытующе, но никто ничего не говорит, и я тоже должен молчать. Это тяжело — молчать перед товарищами по оружию.

Погода, такая прекрасная в первые дни, портится всё больше и больше. Мы идём маршрутом, пролегающим вдоль жёлоба с большими глубинами моря. Ветер усиливается до штормового, и

верхняя вахта облачается в штормовки.

На широте мыса Данкансби[30] барометр падает до девятисот семидесяти восьми миллибар.

Шквалистый ветер достигает силы восемь баллов, а на порывах и ещё больше. Одна за другой поднимаются тёмные громады волновой зыби, усеянные крутыми ветровыми волнами с пенящимися кронами, которые тускло светятся в непроглядной тьме ночи.

Мы стоим на мостике, сверля взглядами темноту. Не видно ни зги. Ни звёзд, так как небо затянуто тяжёлыми тучами, из которых беспрерывно сыпет мелкий дождь, ни огней, потому что их в одно мгновение погасила война. Нас окружает непроглядная темень, сквозь которую пробивается лишь тусклый свет пенистых волн.

«Травля» на мостике.

"Травля на мостике"

Впереди по левому борту над волнами появляется смутная тень, которая скорее угадывается, чем видна: берег. Эндрасс наклоняется ко мне:

— Мы что, собственно, собираемся посетить Оркнеи,

господин капитан-лейтенант?

Настало время, когда я имею право сообщить о цели нашего похода.

— Держитесь крепко, Эндрасс, — говорю я, — мы идем в Скапа-Флоу.

Мне не видно выражения его лица. Но спустя минуту я слышу сквозь шум ветра его голос, совершенно спокойный и твёрдый:

— Ясно, господин капитан-лейтенант, я уже догадался об этом.

«Эндрасс, дружище, — подумал я, — в этот час ты не мог бы мне сказать ничего лучшего!»

Но я говорю ему только:

— Теперь нужно отойти от побережья и лечь на грунт. Потом соберите экипаж в носовом торпедном…

Мы отходим. Силуэт побережья постепенно исчезает. Мы снова совершенно одни между тёмным небом и тёмным морем. Спустя полчаса мы задраиваем рубочный люк и принимаем воду в балластные цистерны. Лодка погружается, и сразу всё вокруг стихает… Ни шума ветра, ни рёва дизелей. Мы опускаемся в молчаливую глубину.

Несколько коротких команд на горизонтальные рули; высокий, поющий звук электромоторов, и затем слабый, едва ощутимый толчок: мы на грунте. Это происходит в четыре часа утра тринадцатого октября…

Я иду в носовое торпедное. Весь экипаж, кроме вахты, уже собран. Люди стоят вдоль переборок и бортов, сидят, сгорбившись, на койках. В ярком свете ламп их лица кажутся известковыми. Только глазницы выглядят тёмными провалами.

— Завтра мы идём в Скапа-Флоу, — говорю я безо всякого вступления.

В отсеке совершенно тихо — слышно даже, как где-то капает вода.

— После инструктажа всем отдыхать, чтобы выспаться. Кроме вахты на грунте. Вахта будит кока в четырнадцать часов. В пятнадцать начинаем обед. После этого на всё время предприятия горячая пища готовиться не будет. Кок выставляет во всех отсеках тарелки с бутербродами, и каждый получает в качестве сухого пайка по плитке шоколада. Весь излишний свет выключается. Нас следует экономить запас электроэнергии. Никто не должен без нужды передвигаться по лодке, так как нужно беречь кислород воздуха в отсеках. Во время предприятия должно соблюдаться абсолютное спокойствие. Ни одно приказание, ни один доклад не должны повторяться дважды. Понятно?

— Так точно, господин капитан-лейтенант! — доносится со

всех сторон.

— По местам отдыха разойтись!

Молчание. Лица людей внешне спокойны, они не отражают ни удивления, ни страха.

Я иду назад, в свою выгородку, и ложусь на койку. Передо мной окрашенный в белый цвет борт лодки, на поверхности которого выделяются головки заклёпок.

Выключается свет, один светильник за другим. Лодку охватывает полумрак. Наступает тишина, только снаружи иногда раздаётся бульканье воды в цистернах, да в центральном шепчется вахта.

Мне необходимо заснуть, но я не могу. Как и многие из тех, что лежат сейчас в койках. Они уже слишком долго служат на лодке, чтобы не осознавать, сколь тяжёлое испытание выпадет завтра на нашу долю. Но никто из них не шевелится и не проявляет своим поведением внутреннее напряжение. Они молчат.

Сон не приходит. Я закрываю глаза и вижу перед собой карту Скапа-Флоу: бухта с семью входами, через один из которых я должен проникнуть внутрь. Я мысленно пытаюсь представлять свой путь.

Наконец, я больше не выдерживаю это мучительное бодрствование на койке. Я встаю и на цыпочках крадусь в офицерскую кают-компанию. Полутьма насыщена странным беспокойством. Кто-то откашливается, другой ворочается в койке, третий тяжело вздыхает, четвёртый поднимает голову на звук моих шагов…

В кают-компании стоит, склонившись над картой, Шпар, мой штурман.

— А вы что здесь делаете?

— Господин капитан-лейтенант, мне нужно посмотреть карту ещё раз, — говорит он, как бы извиняясь.

И вот мы уже вдвоём безмолвно стоим у карты и пристально смотрим на неё.

Затем Шпар спрашивает шепотом:

— Господин капитан-лейтенант, мы действительно пройдём чисто?

— Шпар, — отвечаю я вопросом на вопрос, — я что, похож на пророка?

— А что будет, если не пройдём?

— Будет то, что называют военной неудачей.

Шелестя шарнирами подвески, отодвигается шторка соседней койки. Появляется голова Копса[31].

— Можете меня судить судом военного трибунала, господин

капитан-лейтенант, но спать я больше не могу.

— Закрой рот, и чтобы я тебя больше не видел, — шиплю я на него.

Другого способа уложить его обратно в койку просто не существует. Вздохнув, он исчезает в своём логове.

Я снова крадусь к своей выгородке и ложусь. На этот раз мне удаётся заснуть. Но это совершенно поверхностный сон. Сознание продолжает бодрствовать — как у дикого животного, дремлющего на звериной тропе.

В четырнадцать часов я слышу, как вахта будит кока, и скорее вижу сквозь прищур полусомкнутых глаз, чем слышу, как он проскальзывает мимо к себе на камбуз. Чтобы не делать шума, он обмотал свои ноги тряпками.

В пятнадцать часов общий подъём. Время приёма пищи. Блюдо праздничное — антрекот с зелёной капустой, и бачковые приходят на камбуз не один раз.

Я сижу за столом в кают-компании с Вессельсом, Эндрассом и Фарендорффом, который нас развлекает. Подвижный, как ртуть, он сейчас в ударе, и находит всё новые темы для разговора.

Обед закончен. По лодке проходят специалисты-подрывники — закладывают взрывные заряды. Если лодка окажется в руках противника, мы подорвём её.

Я ещё раз прохожу через всю лодку и даю последние инструкции. Каждый проверяет свой спасательный жилет.

Штурман раскладывает карты. Верхняя вахта надевает водонепроницаемые прорезиненные комбинезоны.

Девятнадцать часов. Наверху уже ночь. Короткие команды: «Приготовиться к всплытию!», «Из уравнительной за борт!». Насосы откачивают избыточную воду из цистерны, и старший инженер-механик Вессельс докладывает приглушённым голосом:

— Лодка всплывает… метр над грунтом… два метра над грунтом…

Тонкое пение электромоторов, и лодка устремляется к поверхности моря.

Поднимаюсь в боевую рубку к перископу. Осматриваю горизонт. Ночь… Перевожу дыхание и командую:

— Всплывать!

Сжатый воздух устремляется в цистерны, с шумом вытесняя из них воду. Лодка покачивается, как опьяневшая после длительного пребывания на глубине, и застывает на ровном киле. С глухим щелчком открывается рубочный люк. Снаружи врывается поток свежего воздуха.

Мы быстро поднимаемся на мостик — я, оба вахтенных офицера и боцман.

Я напряжённо всматриваюсь в темноту и прислушиваюсь к внешним звукам. Ничего постороннего, ничего подозрительного. Безветрие, штиль. Только лёгкие пологие волны набегают со стороны берега.

Следуют доклады наблюдателей: «С левого борта чисто…», «С правого борта чисто…», «По корме чисто…»

— Провентилировать лодку! — командую я, и оба вентилятора с гулом начинают работать. — Оба дизеля товсь!

И снизу слышен приглушённый ответ:

— Готовы оба дизеля!

— Стоп электромоторы! Оба дизеля малый вперёд!

С привычным, ровным гулом начинают работать дизеля, и лодка устремляется вперёд, подняв носовые буруны.

Постепенно глаза привыкают к ночной темени. И вот уже отчётливо, даже слишком отчётливо становится видным всё вокруг: лодка, набегающие волны и тёмная лента далёкого побережья.

— Удивительно светлая ночь, — говорю я.

Небо подсвечено не от луны, а само по себе, каким-то внутренним светом. Как будто включён огромный софит где-то там, за горизонтом. Да это же северное сияние!..

Для меня это — как удар. О нём никто не подумал, и мы не приняли его в расчёт!

Для предприятия была выбрана ночь новолуния. Казалось, что этого вполне достаточно для обеспечения скрытности действий. И вот теперь светло, как в сумерки, а северное сияние усиливается, и вокруг становится всё светлее. Кроме того, северный ветер сносит лёгкую облачность, и небо проясняется для сияния.

Лодка в море.

Может быть, стоит отказаться от сегодняшней попытки и переждать ещё сутки на грунте? Ведь две ночи подряд северное сияние в этих широтах бывает очень редко...

Поворачиваюсь к Эндрассу:

— Ну, Энгельберт, как тебе всё это?

— Хорошая подсветка, господин капитан-лейтенант, — спокойно отвечает он.

И в тот же момент я слышу, как Фарендорфф шепчет сигнальщику:

— Ханзель, дружище, какая ночь! Как будто специально для нашего предприятия!

«Может быть, никакого северного сияния завтра уже и не будет, — думаю я, — но будет ли у моих юношей завтра такое же настроение?»

И я принимаю решение:

— Обе машины средний вперёд!

Носовой бурун поднимается выше, и клочья белой бурлящей пены разбрызгиваются по палубе. Мы стоим — напряжённо, до рези в глазах всматриваясь через бинокли в эти ночные сумерки.

Удивительно, как ответственность обостряет чувства. Вот перед нами тень на воде. Очень далеко, сквозь стекла бинокля едва различима. Но мы видим ее все!

Так выглядят после потопления судов противника суммарным водоизмещением шестьдесят шесть тысяч тонн.

Так выглядят после потопления судов противника

Может быть, это всего лишь дрифтер, может быть, проходящий пароход. Но теперь — в нашем положении — каждая встреча связана с недопустимым риском.

— Тревога!.. Погружаться!..

Как испуганные мыши, мы ныряем в лодку через рубочный люк.

Вода с шумом заполняет цистерны. Пригнувшись к перископу, я ищу чужой корабль. Снизу слышны команды Весселя на горизонтальные рули. Затем низкий голос Шпара:

— Командиру: время поворота вправо на курс двадцать градусов.

— Руль право пятнадцать! — командую я.

Через некоторое время следует доклад рулевого Шмидта:

— Легли на курс двадцать градусов!

Тень наверху исчезла. Это было обычное в высоких широтах компактное кучевое облако — источник дождевого или снежного заряда, смотря по времени года. Вблизи оно превращается во мглу, быстро уплывающую по ветру на зюйд. Вслед за ним

северное сияние кажется ещё ярче: красноватые, жёлтые и синие лучи яркими фосфоресцирующими шторами простираются по небесной сфере по направлению к земле.

Мы подходим к берегу всё ближе. Низкая зубчатая кромка гор превращается в скопление вершин, теснящихся друг возле друга, чёрные профили которых, резко очерченные на фоне сияющего неба, отражаются в подсвеченной поверхности моря тёмной полосой. Постепенно они растекаются по сторонам, как бы окружая нас.

— Господин капитан-лейтенант, а вы видели северное сияние раньше? — раздаётся за моей спиной. — А я ещё ничего подобного не встречал.

Я оборачиваюсь, чтобы пресечь пустую болтовню. Ведь всем известно не хуже меня, какова цена оплошности в нашей игре.

— Послушай… — начинаю я грубо, и тут же осекаюсь: это Замманн; его глаза широко раскрыты, как у ребёнка, который очарован сказкой.

Я молча поворачиваюсь вперёд.

Тени гор справа и слева сливаются за кормой. Мы оказываемся внутри тёмного логова. Отблеск неба исчез, вода потемнела. И почти сразу после этого просветлел горизонт впереди по курсу. Бухта раскрылась, и совершенно гладкая поверхность спокойной воды вновь отражает сияние неба. Создаётся впечатление, что море подсвечено снизу, из-под воды.

— Мы внутри! — передаю я вниз.

Никакого ответа. Но мне кажется, как будто вся лодка затаила дыхание, и даже шум двигателей стал тише.

Бухта большая. И хотя горы, которые его обрамляют, высоки, на удалении они выглядят всего лишь как плоская цепь дюн.

Медленно, осматриваясь по сторонам, мы продвигаемся вглубь бухты.

Вот несколько огней. Как упавшие звёзды, они мерцают над самой водой. Я чувствую, как в висках стучит кровь… Но это только танкеры, стоящие на якоре.

Наконец… там… силуэт линкора во весь профиль! Чёткий, резко очерченный, как чёрной тушью на фоне светлого неба: башенная мачта, высокая дымовая труба и позади неё вторая мачта, высокая и изящная.

Ближе, ещё ближе к нему…

В такие минуты чувства отключаются. Остаётся только холодная, расчётливая мысль об охоте на этого громадного стального зверя, к которому крадучись подбирается лодка. Дать волю чувствам значит погибнуть.

Всё ближе… Теперь уже отчётливо видны купола орудийных

башен, из которых угрожающе торчат стволы орудий. Корабль с затемнёнными огнями покоится на воде, как спящий великан.

— Линкор типа «Ройал Оук», — шепчу я, и Эндрасс согласно кивает.

Ещё ближе… И внезапно из-за линкора появляется силуэт второго линкора, столь же могущественного, как и первый. Постепенно форштевень «Ройал Оук» сдвигается в сторону, и перед нами предстают палубные надстройки второго: передняя орудийная башня, мачта… Это «Рипалс».

Надо атаковать сначала его, так как «Ройал Оук» совсем рядом с нами и никуда не денется.

— Приготовить все торпедные аппараты!

Команда, повторяясь многократно, как эхо, проносится через лодку в торпедные отделения.

Слышно шипение сжатого воздуха, шум воды, поступающей в трубы торпедных аппаратов, металлические щелчки, с которыми взводятся боевые рукоятки. Затем доклад:

— Аппарат номер один готов!

— Аппарат, товсь!.. Аппарат, пли! — командует Эндрасс.

Сила отдачи сотрясает лодку: торпеда вышла.

Только бы она попала… она должна попасть… силуэт был в перекрестье…

Внизу Шпар ведёт отсчёт времени: «Пять секунд… десять секунд… пятнадцать секунд…»

Время тянется бесконечно. В лодке полная тишина. Только голос Шпара, размеренно, как тяжёлые капли: «… двадцать секунд…»

Взгляд застыл на цели. Но стальная крепость всё так же возвышается в ночи, молча и неподвижно.

Внезапно в носовой части «Рипалса» поднимается столб воды и сразу после этого доносится грохот взрыва.

— Он нашёл свою участь, — говорит Эндрасс.

У меня нет времени ответить ему.

— Аппараты номер… товсь!

Я разворачиваю лодку на «Ройал Оук». Мы должны торопиться, иначе прежде, чем мы сможем выполнить следующий выстрел, обстоятельства могут оказаться против нас.

— Руль лево пять!

Лодка медленно ворочает влево.

— Держать на мидель корабля!.. Так держать!

Мы держим курс точно на середину «Ройал Оук». Всё сильнее вырастает его громадина с высокими палубными надстройками.

Шмидт удерживает курс так, как будто бы он сам видит цель. Нить прицела всё время точно пересекает середину корабля.

Пора!

— Аппараты номер… пли! — командует Эндрасс.

Снова сотрясение отдачи, и снова Шпар начинает свой монотонный отсчёт: «Пять секунд… десять секунд…»

Затем происходит нечто невероятное. Такое, что не видел никто и никогда, а увидев, не забудет до конца своей жизни.

Там вздымается лавина воды. Как если бы внезапно всплеснулось само море. Глухие звуки взрывов следуют один за другим, как бой барабана, сливаясь в единый грохот, рвущий барабанные перепонки… Снопы огня, синие, жёлтые, белые и красные, вздымаются непостижимо высоко. Небо исчезает за этой огненной преисподней. В ярком пламени огня ввысь, как огромные птицы, взлетают и обрушиваются обратно в воду чёрные тени. Это громадные обломки надстройки, мачт, мостика, дымовых труб. Там, куда они падают, поднимаются многометровые фонтаны воды.

Мы попали, по-видимому, прямо в артиллерийский погреб, и смертоносный груз на этот раз разорвал тело собственного корабля…

С трудом отрываюсь от бинокля. Во мне всё оцепенело, как будто распахнулись врата ада, и я заглянул в прямо в преисподнюю.

Взгляд вниз, в центральный. Там сумеречная тишина. Слышатся только работа машин, монотонный голос Шпара и доклады рулевого. И я ощущаю, как никогда до этого момента, какая тесная связь объединяет весь экипаж, сколь невероятное дело они сумели сделать, выполняя каждый свой долг, даже не увидев ту цель, которую они поразили, и готовые, если будет необходимо, умереть под водой.

Я кричу вниз:

— Он готов!

Секундное молчание. И затем восклицания и крики, сливающиеся в единый животный рёв, как будто бы он исходит от самой лодки — рёв, в котором находит разрядку страшное напряжение последних суток.

— Тихо! — что было силы ору я вниз.

Лодка умолкает. Снова слышен голос Шпара:

— Поворот влево на курс тридцать градусов!

И через некоторое время доклад рулевого:

— Легли на курс.

Фейерверк постепенно угасает. Слышно ещё несколько отдельных взрывов. Однако оживает вся бухта. Вспыхивают прожекторы, снопы света в бешеной пляске ощупывают поверхность бухты и снова гаснут. Огни мечутся туда и сюда,

некоторые из них совсем близко от нас. Низко сидящие над водой, они перемещаются очень быстро: это торпедные катера или охотники за подводными лодками. Их беспорядочное блуждание напоминает рой стрекоз. Они ищут нас, и горе нам, если кто-нибудь из них нас обнаружит!

Последний взгляд. Корабль умирает. И вокруг, насколько можно видеть, нет больше ни одной стоящей цели. Только наши преследователи.

— Лево на борт! — командую я. — Обе машины самый полный вперёд!

Остаётся только одно: незаметно выскользнуть из этого адского котла и благополучно вернуться домой, сохранив лодку и экипаж.

Тёмные силуэты гор снова смыкаются вокруг нас. Течение, которое в узком проливе набирает силу быстрой реки, теперь препятствует нашему продвижению вперёд. Машины работают на полных оборотах. И всё же кажется, что мы движемся буквально со скоростью пешехода. Иногда даже создаётся впечатление, что мы застыли на месте, как рыба в горном ручье.

Сзади, отделившись от путаницы суетящихся огней, к нам приближается один из них. Топовый огонь расположен высоко; по-видимому, это эсминец.

Мы, однако, почти не продвигаемся вперёд. Лодка, рыская, борется с течением.

А корабль приближается. Его тонкий силуэт уже отчётливо виден на фоне подсвеченного неба.

— Видит он нас, что ли? — говорит Эндрасс глухим голосом.

— Самый полный вперёд! — кричу я вниз.

— Машины работают на максимальных оборотах! — возвращается снизу.

Кошмар. Кажется, что мы движемся очень медленно, как будто заколдованные какой-то невидимой силой. А смерть приближается… она всё ближе…

Корабль даёт несколько вспышек сигнальным прожектором: короткая — длинная — короткая…

— Этого ещё нам не хватало, — шепчет Эндрасс.

Лодка вибрирует во всех стыках, как будто из последних сил вырываясь на свободу.

Мы должны… должны уйти… В напряжённом сознании нет больше ни одной мысли. Только: мы должны уйти…

И здесь — это как чудо — корабль отворачивает. Его огни начинают удаляться, а ещё через некоторое время мы слышим грохот взрывов первых серий глубинных бомб…

Лодка медленно преодолевает горло пролива. Вокруг темно и

тихо. Только издалека доносится эхо отдалённых взрывов глубинных бомб.

И вот перед нами открывается простор моря. Широкий, теряющийся вдали — бесконечный под бесконечным небом.

И вздохнув полной грудью, я подаю команду — последнюю команду этой акции: «Всему экипажу: один линкор уничтожен, другой торпедирован! Мы возвращаемся!».

Смех… Крики «Ура!»… Поздравления… На этот раз они могут шуметь вволю.

У фюрера

Затем всё становится на свои места. Сменяются вахты, мы едим, пьём, спим, как обычно. Только нервы ещё дрожат от возбуждения. В полдень следующего дня, когда мы уже далеко южнее, в Северном море, в радиопередаче из Германии говорится: «В бухте Скапа-Флоу немецкая подводная лодка торпедировала и потопила английский линкор «Ройал Оук». Согласно английскому сообщению, немецкая подводная лодка была также потоплена».

Когда приходит это сообщение, я нахожусь в центральном. Рядом со мной стоит Густав Бём, машинист центрального. Мы смотрим друг на друга, и вдруг этот толстячок взрывается хохотом и, давясь и плача от хохота, повизгивает: «Потоплена… немецкая подводная лодка… ха-ха-ха!.. Это мы-то потоплены!..»

Однако напряжение последних дней ещё долго держит наши нервы натянутыми.

Через трое суток мы подходим к своей базе, и мол протягивает нам свою каменную руку.

С вахтенного поста на молу нам передают сообщение сигнальным прожектором, и Ханзель читает вслух: «Гросс-адмирал[32] ожидает лодку на шлюзе».

Со смешанным чувством радости и тревожного волнения я приказываю свободным от вахты в кожаной одежде построиться на верхней палубе.

Поздравление адмиралом Дёницем и адмиралом Канарисом.

Поздравление адм. Дёницем и адм. Канарисом

И когда мы приближаемся, и оркестр поднимает свои сверкающие духовые музыкальные инструменты, и немецкий морской гимн доносится до нас, когда люди, сотни людей, ликуют и машут нам руками, и наша лодка входит в шлюз и становится на швартовы, когда я спускаюсь с мостика и по сходне перехожу на мол, и иду прямо к адмиралу в голубом форменном пальто, — я чувствую, как торжественность момента как могучая волна, поднимается и захлёстывает меня.

Когда я докладываю, у меня перехватывает горло:

— Лодка и экипаж из боевого похода возвратились. Один линкор противника потоплен, второй повреждён!

Гросс-адмирал благодарит меня от имени фюрера и от имени Кригсмарине.

Затем подходят другие встречающие лица из свиты.

Первый из них — контр-адмирал Дёниц, командующий подводными силами. Его рукопожатие крепкое и долгое. Он благодарит меня, а мне так бы хотелось сказать в ответ: «За что благодарность? Ведь головой этого предприятия были вы, а я — лишь его рукой». Но церемония встречи не даёт мне этого сделать, и я лишь вытягиваюсь перед ним в стойке…

Мы снова выходим из шлюза к месту стоянки в гавани. Едва только мы ошвартовались, прибывает офицер и сообщает мне о нашем приглашении к фюреру: «Командир и экипаж должны быть в государственной канцелярии завтра».

Экипаж кричит «Ура!», и эхо разносится по всей гавани…

Слева: посадка в самолёт для следования в Берлин. справа: эскорт автомобилей следует через Бранденбургские ворота.

Слева: посадка в самолет; справа: у Бранденбургских ворот

Затем следуют полёт в персональной машине фюрера в Берлин, посадка в Темпельхофе и поездка через улицы города в окружении тысяч… десятков тысяч людей, которые приветственно кричат и машут руками.

И вот мы у фюрера…

Весь экипаж стоит в строю в большом, подобном залу, кабинете. Снаружи с улицы приглушённо доносятся крики людей, которые всё ещё не могут успокоиться от охватившего их воодушевления.

Входит адъютант и сообщает:

— Фюрер!

Вот он появляется. Я видел его уже иногда раньше. Но я никогда не чувствовал так глубоко величие этой жизни, как в это мгновение.

Мы соприкоснулись с этим величием, и мечта нашей юности стала реальностью. Этот момент, когда мы её осуществили, и является, вероятно, самым главным в нашей жизни. В жизни, которая соприкоснулась с его жизнью. Жизнью человека, который воспринимает позор и бедствие своей страны как свой собственный позор, как своё собственное бедствие, и который делает всё, чтобы отечество стало свободным и счастливым. Он верит и действует… один на восемьдесят миллионов. Его вера завоёвывает жизнь. Его мысль становится действием…

Я подхожу к фюреру и докладываю ему о выполнении задания. Он благодарит, подаёт мне руку. Затем вручает мне Рыцарский крест Железного креста, и одновременно награды всему экипажу.

Гордость и счастье… Я ощущаю их в этот час в полной мере, и я солгал бы, если бы не признал это открыто.

Судьба высоко подняла меня в это мгновение. И всё же я осознаю, что я стою здесь одновременно за всех, кто безымянно и безмолвно вёл борьбу так же, как и я. Нас разделил только видимый успех. А что есть такой успех? Его можно назвать счастьем или удачей. Но, как это принято считать у настоящих мужчин, он приходит только к тому, кто имеет сердце борца и способен пожертвовать собой во имя дела, которому он служит…

Фюрер проходит вдоль строя экипажа. Он подаёт каждому свою руку и каждого благодарит в отдельности. Я следую за ним и смотрю на них, членов моего экипажа, и ощущаю, что наши сердца бьются вместе…

U-47

Экипаж U-47

Собственно о книге

Когда «Немецкое издательство» обратилось ко мне с просьбой написать книгу о моих переживаниях, моя лодка как раз находилась в ремонте на верфи.

Таким образом, совершенно неожиданно во время войны у меня появились досуг и повод оглянуться на свою жизнь.

При написании своих воспоминаний я старался не отходить от правдивого изложения событий, в большинстве случаев называя людей и вещи их реальными именами. Так, например, Виташек и старина Стёвер действительно ходили по палубе парусника «Гамбург», а бедняга Тайсон и сегодня живёт с одной ногой где-то в Саксонии. И события на самом деле происходили приблизительно так же, как они здесь изложены.

Только иногда я должен был кое-что сжимать в описании, чтобы уменьшить объём книги. Так, реально я был матросом на различных парусных судах и пароходах в течение многих лет, но из этого времени позволил себе описать только некоторые эпизоды.

Воспоминания военной поры тоже представляют собой набор отдельных эпизодов, которые мне показались наиболее интересными. Впрочем, я несколько изменил здесь и последовательность событий, поставив главу «Скапа-Флоу» в конец. Это сделано прежде всего потому, что я чувствую путь в Скапа-Флоу своеобразным поворотным пунктом, который венчает все остальные события моего жизненного пути, и мне показалось правильным завершить эту книгу, которая рассказывает о моей жизни, самым значительным её событием.

Берлин, середина августа 1940 г.
Гюнтер Прин

Послесловие

U-47 перед уходом в последний поход

U-47 перед уходом в последний поход.

Примечание переводчика (или английского редактора)

Капитан-лейтенант Гюнтер Прин пропал без вести в Северной Атлантике к зюйд-зюйд-осту от Исландии вместе с U-47 и всем её экипажем (44 человека). Последнее донесение от лодки было получено 7 марта 1941 года во время преследования конвоя ОВ-293.

Примечание файлодела

Немецкий оригинал был издан в 1940 году в Берлине. Данный перевод (переводчик В.И. Полепин) на русский язык выполнен, судя по всему, с английского перевода.

notes

Примечания

1

Регион в Германии.

2

Гитовы — снасти бегучего такелажа для подтягивания к реям нижних шкаторин прямых парусов.

З

Район Гамбурга, известный своими увеселительными заведениями, в том числе публичными домами.

4

Старик — принятое в германском флоте уважительное прозвище капитанов судов и командиров кораблей.

5

Перты — тросовые подвески под реями, на которых стоят матросы при работе с парусами.

6

Грот-брамсель — название прямого паруса (третий ярус) на грот-мачте.

7

Брасы — снасти бегучего такелажа, предназначенные для управления парусами путём поворота реев в горизонтальной плоскости.

8

Контрабандный спиртной напиток во время действия сухого закона.

9

Выходной день, полное освобождение от судовой службы (жарг.).

10

Вымбовки — рычаги для вращения барабана шпиля вручную.

11

Shanty, или shantey, chantey — морская песня (англ.).

12

В английском оригинале:
Rolling home, rolling home,
Rolling home across ’e sea.
Rolling home to dear old England,
Rolling home, dear land to thee.

13

Важная особа (разг.).

14

Гордень — Снасть бегучего такелажа для подтягивания углов паруса к рею.

15

Салинг — узел крепления двух смежных звеньев (стеньг) составной мачты.

16

Сокращенно от Offiziersanwarter — кандидат в офицеры (нем).

17

Качать солнце, звезды - измерять навигационным секстаном высоты светил над видимым горизонтом (т.е. вертикальные углы).

.

18

Непонятно. Как можно определиться по береговым ориентирам в густом тумане? Видимости же нет. Скорее всего, это ошибка перевода, а речь здесь идет о том, чтобы запросить береговые радиостанции запеленговать свое судно и получить их данные (прим. файлодела).

19

Председателя экзаменационной комиссии (нем.).

20

Hundsgrun — буквально: собачья зелень (нем.).

21

Известные командиры-подводники периода Первой мировой войны.

22

Курсант выпускного курса военно-морского училища (нем.).

23

«Кокни» (англ.) — пренебрежительно-насмешливое прозвище уроженца Лондона из средних и низших слоёв населения.

24

Английский флотоводец, адмирал (1859–1935).

25

Парусиновый рукав, предназначенный для естественной вентиляции внутренних судовых помещений.

26

Плавбаза подводных лодок.

27

Ошибка английского перевода. Коммодор — чисто британский военный чин. В Рейхсмарине (а затем и в Кригсмарине) капитан цур зее, занимающий адмиральскую должность, носил чин «командор» (Komandor). Кроме того, описываемые события относятся к 1 октября 1939 г. — как раз в этот день Дёниц получил шевроны контр-адмирала (далее поправлено).

28

Конечно, имеется в виду Первая мировая война.

29

Рыболовное промысловое судно.

30

Северная оконечность Шотландии.

31

Непонятно, кто это. В списке экипажа U-47 нет человека с такой фамилией или похожим именем. С учётом же того, что дело происходит в офицерском кубрике, это может быть либо Эндрасс, либо Вессельс, либо Фарендорфф, а «Копс» — это дружеское прозвище.

32

Гросс-адмирал Эрих Редер, главнокомандующий Кригсмарине.